

Виталий Аширов

ЧЕРНЫЙ КОРАЛЛ
трактат о нечеловеческом

горизонталь

Странную моду на нечеловеческое пока не
клянут и не ругают, потому что не прошел
инкубационный период, после которого можно
клясть и ругать.

Мы, если нам позволено называть себя
собирабельным именем, в принципе ничего
конкретного не означающим, мы хорошо
помним времена, когда проносились буйным
вихрем и другие моды – на постмодернизм, на
шизофрению.

Сталкиваясь, но и держа смутно
распознаваемую дистанцию, эти сумрачные
моды пролетели, как сказано, безудержным
ураганом и растворились в теплом мартовском
воздухе, безмерных умах, в громком уличном
говоре (ты не замечаешь меня, но я наблюдаю
за тобой, Марта) –

и более не будоражили и не тревожили
широкую общественность, хотя иногда
отдельные социальные элементы, заблудшие
на дорогах жизни, вспоминают и шизофрению,
и постмодернизм, но ничего не могут сказать
об этом полезного,

умного, впечатляющего, конкретного,
правильного,

только стоят, открыв пустые рты, и смотрят в
пустые небеса, будто ждут поддержку от
несуществующего существа, текста,
структуры;

не дождавшись,

захлопывают рты и смущенно опускают очи
долу, ибо не оправдали
надежд спрашивающего, поэтому – коль
интеллектуалы молчат – то и дело
раздаются опять-таки иные голоса, уже менее
образованных слоев общества, но все равно
рвущихся высказать истину,
писателей и поэтов, и художников от слова
март, и менее
весенних деятелей искусства, и тогда
происходит невообразимое и невозможное
переоткрытие старых истин, которые
наследили на кафельном полу морга, и по
следам мы приходим к препарированным
идеям с ушитыми ушами
и бесполезными впалыми глазницами, откуда
не сияют солнце и красота – течет сукровица
темноты,
и мы
отплевываемся и, отплевываясь, глядим в
туманные дали, где в золотистой дымке
рассвета движется по водной глади
белоснежный теплоход, и ты уплываешь на
нем, укоряя меня за то, что слово выбрано
плохо,
неправильно, теплоход не белоснежный, а
просто белый, потому что март, март, ни
снежинки, небо давит неукротимой красотой
на горизонталь горизонта, и в пустоте
очередного бессмысленного утра я понимаю
вдруг, что не зря
– как бы хотелось представить иным
борзописцам –

идеи нечеловеческого всплывают в
воображениях, ибо нет у нас иначе никаких
внятных и тем более последовательных

идей,

способных обескуражить после выстреливших
как из пушки постмодерна и шизофрении (и
говорят, однако, о путанице – как верно
произнести: постмодерн или постмодернизм?)

постулируемые

академиками различия между данными
терминами малосущественны и являются
абберацией, словотворчеством, занудством,
хотя и безусловно работают в пространствах
академических дисциплин),

и ты

магически сливаешься с толпой,

и мне

остается развести руками, облокотиться на
прилавок возле торговки, закутанной в тысячу
одежек, как стыдливая капуста, и считать –
ворон, мелочь в кармане, считать тебя
пройденным этапом, но – какая смешная
мелочь и совсем не звенит! –

в результате

моего феноменологического эпохе
нередуцируемым

фантомом на границе сознания остаешься ты,
и я совершенно ничего не могу понять,
осознать, вычленишь,

на меня

с невыносимых небес сплошным потоком
льется ничто, ничто с маленькой буквы,

я

подплясываю, протягиваю руки, растопырив
пальцы, открываю рот, но – мимо, мимо!

Нарратив, как живое существо, диктует свои
правила и законы, и все-таки я должен
говорить о человеке, потому что

проблематика

нечеловеческого является, возможно,
ключевой реперной точкой этого

нарратива,

призванного продемонстрировать и объяснить,

а там, где человек, там и нечеловеческое, да
простят меня боги стилистики за

сплошные повторения,

за то,

что, начиная тему,

моментально сворачиваю в сторону, но иначе
нельзя, боюсь говорить напрямую, выразаться
открыто, откровенно,

эзопов язык, птичий грай – вот что должен
использовать исследователь, однажды
отважившийся распахнуть рот посреди
колхозного рынка, не

иностранные языки ты должен изучать, о
несчастнейший, а соловьиные трели, писк
трясогузки, свист воробьев, и как запищать,
когда горло приспособлено для кашля и хрипа,
и сглатывания слюны,

я

смотрю в глаза тучной торговки

и она

смотрит на меня с выражением явного
неодобрения, что думает в этот момент, как
текут ее мысли, если вообще текут, может
быть плывут или летят, или одновременно

присутствуют в полном

объеме,

и она

лишь фланирует по пустынным коридорам
несуществующей библиотеки, планирует
добраться до высоких стеллажей, именно
для этого у дамы припасена стремянка, но
вместо того, чтобы снимать и спешить,

библиотекарь

битый час читает наугад выбранный том о том,
как Том томился в пылу страсти, и не замечает
направленных на нее зловещих взглядов
соглядатаев; два молодца средних лет, бедно
одетые, на цыпочках

фланируют и планируют совершить нечто не
совсем укладывающееся в конвенциональные
рамки, возможно выкрасть даму, закутав
предварительно в ковер, и на автомобиле
зеленого цвета вывезти в неизвестном
направлении,

требовать выкуп или просто глумиться и
развлекаться над/с жалкой жертвой, они
пристально следят сквозь пробелы в книжных
полках, смотровые щели, свободные покамест

от

пыльного груза, собравшего внутри себя
огромные знания об устройстве вселенной

или

незатейливые истории о похотливых
солдафонах, но с точки зрения бумаги, все это
пыль, пыль, и я уверен,

если она промедлит еще несколько мгновений,
накинется, и произойдут неприятные события,
о которых я бы не хотел узнавать из газетных
столбцов, и может быть, каким-то неприятным
образом распознав

мои мысли, они изменили направления
взглядов и уставились на меня,

очевидно, предполагая, что ничего не
замечаю, будучи погруженным в размышления
о posthumanity; действительно,

я имел вид человека, ушедшего с головой в
кротовую нору, черную дыру, влипшего в
айсберг воспоминаний – о чем бишь я? –

марта,

март...

ранняя

весна, тают вымышленные айсберги, звенят
ручьи, и с веселым смехом детвора-, нет,
детвора меня пугает своим жутким смехом,

я

зажимаю уши, а они все равно смеются, и
ручьи ползут, как черви, оплетая иссиня-
черный труп дороги, в конце которого, там,
где чугунный забор, стоят двое моих
преследователей

и уже не скрывают недружественных
намерений; решительны, смуглы, спокойны,

и вот-вот двинутся за мной, нужно
улепетывать, но позволь еще постою,
облокотившись, и помечтаю, ведь на рынке я в
полной безопасности,

ВЬЮНОШИ

ни за что не бросятся на меня в людном месте,
максимум на что способны – стоять в
отдалении и наблюдать за реальностью,
пока библиотекарь счастлива уже тем, что
нашла нужную книгу –

о чем книга?

– интересуюсь; дама, подобрав юбки,
спускается с высоты и, не удостоив меня
толикой внимания, словно я призрак или не
существую, что в принципе,

тоже

самое,

важно или вальяжно, что в принципе

тоже

самое,

шествует в маленькую комнату, где два
маленьких мальчика в матросских костюмах
пытаются исчезнуть – пучат глаза, кривят
губы, тужатся –

НО

исчезнуть оказывается труднее, чем появиться
на свет; печальная дама, усаживает на колени
одного, второй, постарше, устраивается рядом,
и негромкий

голос погружает детей в пространство
вязкого, серого, необязательного текста о
колхозном рынке, толчее и соглядатаях; это
сказка, мама? Нет, это сказка. Сложно
понять материнские побуждения, инстинкты,
инсайты,
вот она, мать, в белой ночнушке крадется, как
мышь, по длинному коридору особняка, со
страхом вглядывается в сумрак и что-то
пытается разглядеть, но все,
что пытается разглядеть,
скрыто хитроумными тенями, остается
довольствоваться расплывчатыми силуэтами и
странными звуками;
и страшными намеками в воображении
всплывают
еще вчера казавшиеся обыденными мгновения,
ноты, фразы, ситуации; она как будто видит
меня, хотя с чего бы,
я
надежно заслонен собственным локтем от
подобного рода соглядатайства; женщина
подслеповато щурится и тянет руку со свечей,
пламя дрожит, колеблется и дымится во мраке;
и мы
прячемся, нам некуда отступить, однако она,
кажется, потеряла след – нюхнувшая чесноку
ищейка, –
я говорю,
бери книги, будем строить крепость,

и брат с готовностью соглашается, ведь
строить крепость – великолепно; несмотря на
то, что в доме стоит вечное лето, и пауки
облюбовали гардину, и

вялые мухи ползут по столешнице, крепость
мы строим книжно-снежную, способную
выдержать прямое попадание артиллерийского
снаряда, попробуй нас оттуда выковырни, о,
архитектор

человеческих душ; к слову о душах, думаю,
она видит не только меня, но и тайных
шпионов,

которые

скрытно наблюдают, как им кажется, за моим
безвольным существованием, а по сути, это
мы с ней наблюдаем за ними, замечаем
малейшие изменения в положениях тел, и
облачка пара поднимаются из носов и глоток,
знаменуя –

а что же они знаменуют?

– да, поздний март, таяния и вместе с тем
призрачность, зачарованность пробуждением
или воскрешением природы, впрочем, она
больше похожа на осторожного зомби, ее
состояние вряд ли назовешь жизнью

– как и мое, мой друг, как и мое –

стою, облокотившись, и делаю вид, что
отрешенно размышляю о сугубо практических
делах, если о них можно отрешенно
размышлять, прикидываю,

к примеру,

сколько денег у меня осталось и хватит ли на
покупку теплых носков для детей – не все им
босиком носиться по холодному полу,
морозить пятки, простужаться и, забурившись
в библиотеку, читать приключенческие
романы

о смелых мореплавателях и спелых кокосах,
висящих на пальмах в жаркой стране,
которая

кишит головорезами; увы, все удивительное
рано или поздно заканчивается, и вот-вот
прозвучит сигнал милицейской машины, но не
звучит – жалеет меня дежурный или забыл
нажать

кнопку – значения не имеет, я больше не могу
удерживать вид покупателя степенного, того и
гляди сорвусь, брошусь на торговку,
забьюсь

в бессмысленной истерике – вот вам, подлецы
и дегенераты! – она мельком ловит мой взгляд
и отвечает вопросительным, хмурю брови и
кусаю губы,

издав неуверенный

и оттого жалкий смешок, отхожу,

дабы

смешаться с толпой; люди

бесконечно движутся, будто элементы
чудесного механизма, приводящего в
движение небо; если смотреть

только на ноги, можно заметить, что господа
шагают невпопад, вразброд, развязно, и никто
не способен на грациозные шаги –

кто

пустил сюда людей? Кто заполнил

торговые площади шумным

народом? –

отоприте клетки, и выпорхнут белоснежные
айсты с длинными клювами и тонкими лапами
(узловатые колени, как твои, худая,

голодная Марта) и вытеснят толпу двуногих, и
тогда серость и неловкость будут посрамлены,
уступят место красоте; и скорости, с

которыми

барабанят в стекло боевые (дождевые) капли,
соперничают со скоростями сокращений
наших сердец; и вот наконец снова замечаю
их, – казалось бы, на короткое мгновение они
умудрились скрыться в длинных рядах, за
шапками и шарфами, за

цветными юбками, или напялили на себя
юбки, шарфы и шапки и стояли

в застывших манекенных позах, чтобы никто
не

заподозрил и не

уличил, прошел мимо и не

обернулся, когда младшая,

не сдержав веселого порыва,

издала короткий отчетливый смешок, а
старшие моментально прижали пальцы к
губам, увещевая и предупреждая, -

казалось бы, но нет,

они токмо вжались в мясо толпы, слиплись,
сделались одним целым с этим мясным
механизмом, коли позволено употребить
захватанное чужими губами обозначение, и
долго

морочили мне голову, пока народ не начал
рассеиваться под воздействием неведомых
сил, формировавших плотность и
разреженность в то пепельное, склизкое,
тоскливое мартовское

утро; давайте обсудим кошечек, какая вам
нравится? Вон та, рыженькая? Или та –
беленькая? Я предрасположен к полосатым,

я

всегда глажу медленно, от макушки до
кончика хвоста; животное недовольно
подергивается, урчит, прыгает на паркет и,
угрюмо озираясь, ретируется на подоконник,
где, по-видимому уютнее, чем на подушке,
ласково греет ребристая батарея и, кроме того,
в окно можно разглядеть балкон и то, что там
постоянно происходит:

шуры-муры, вась-вась, беспорядочные
мелькания в птичьих клетках, запутанные
телодвижения, когда невозможно понять,
человек

это (а еще стекло искажает) или преамбула к
трактату о нечеловеческом:

нам

чрезвычайно важно с самого зачина
исследования дать осознать читателю, что
проблематика поднята серьезная, что автор не
лыком шит и весьма

поднаторел в предельных онтологических
вопросах – с чего начинается Родина, сколько
ангелов уместится на конце ножа, почему так
нахохлились красноцветные птицы, ведь уже
март наступил,

снег почти растаял и возбуждённо бежит
детвора по двору, взволнованно
переговаривается, и я, покуда могу, пытаюсь
заставить его замолчать, да куда мне, брат не
выдерживает неподвижной

напряженной позы, меняет положение и
громко шепчет о том,

о сем, и она, вероятно, слышит, потому что
вдруг поворачивает голову в мою сторону и
пристально смотрит прямо на меня, срочно
делаю вид, что звонят, подношу пластик к уху
и киваю,

да-да, все улажено, Виктор Викторович, да,
будет исполнено, нет, мы ничего не потеряли –
и все-таки что-то мы определенно потеряли на
всем протяжении бесконечно длинного пути
от

беспозвоночных до садомазохистов, и вот бы
кольчатой тварью в черный коралл юркнуть;
есть надежда, что преследователи примут меня
за дорожный столб, ежели не стану
шевелиться, причудливо застыну, как в
детской игре про морские фигуры,

тем не менее,

вашего покорного раба могут распознать иные
обитатели рынка, не столь недружелюбно
настроенные, но волна узнавания в таком
случае дойдет и до

тех, невыносимых, чьи намерения чудовищны,
и меня загребут, загремев хулиганскими
цепями, грохнув трещоткой, и мне даже как-то
неловко будет прощаться с торговкой, чей
внимательный

взгляд не слетает с моей скромной персоны
довольно давно; довольно, довольно, нечего
дергать цепью – лязганье вовсе неприятно, а
вечер обещает быть интересным;

иногда в детстве

я отправлялась к подруге и торчала у нее
допоздна, отключив телефон, чтобы не
выслушивать уговоры матери вернуться
сейчас же, и мы занимались невнятной чушью
– брызгались водой, красились цветными
тенями или уходили

бродить по рынку, где один за другим
загорались неровной цепочкой тусклые
фонари, и постепенно пустело,

но редкие посетители еще вяло

копались в товарах, и болезненные на вид
голуби сидели на чугунном заборе, вот и сиди
не высывайся, лепечет старший, а она все
ближе, второй, подвывая от восторга,
выскакивает из крепости и случайно рушит
половину

постройки, мне остается только виновато
развести руками, женщина механически
гладит по голове ребенка и неодобрительно
взирает на погром в комнате;

два мотылька, влетевших со стороны сада,
танцуют вокруг свечи на комод, и фары
столбами яркого света разрезают промозглый
утренний сумрак;

я, словно очнувшись от глубокого забытья,
обнаруживаю, что по-прежнему облокотился;
наверно,

все дело в локте, свободной

рукой ошупываю крепкую кость, полоску
мяса, визжат шины вдалеке – почему они
всегда визжат? Вот бы производитель
производил промышленные произведения,
лишенные этого существенного изъяна,

шил шины из кошачьих шкур или птичьих
перьев, чтобы мягко шуршали и шелестели по
шоссе, лишь бы

не слышать неприятных шумов – шу-шу-шу
раздается за комодом, мыши давно
облюбовали там уютное местечко и
настороженно высовывают кончики носов и
бусинами глаз посверкивают периодически,
становится неловко,

локоть

оттопыривается, приподнимается, но целиком
скрыть меня не способен, они отвлеченно
болтают, и уже ясно, что от намерений своих
отказываться не станут, несомненно ясно, что
намерения у них злокозненные,

придется следить за девочками тщательней и
даже, раз иначе нельзя, выйти за пределы
торговых рядов и неспешно прогуляться до
любой конечной точки назначения школьниц;
физрук,

математичка,

наши пальчики устали,

Сальников курит в туалете,

эт сетера; мы забирались
под черную лестницу, рвали бечевку,
связывающую стопки журналов и книг, и
расшвыривали макулатуру по закутку,
запинывали скучное подальше, а любопытное,
с картинками покрашенных женщин или
неземных механизмов,

я

засовывал за пазуху и по дороге домой
рассматривал, отворачиваясь от младшего,
который с плаксивым выражением на
хорошенькой физиономии тянулся и дергал, нет, не
дам, ты еще маленький, от мамы

влетит; продолжая

недовольно подергивать усами, полосатая
кошка приближается к стеклу, и за ним в
застегнутых на все пуговицы клетках
испуганно носятся,

носятся испуганные,

испуганно

жмутся пернатые друзья человека,
переносчики смертельно опасного гриппа; от
количества друзей практически ничего не
зависит, но их само их наличие указывает на
щекотливое обстоятельство, на

деликатное положение дел в заранее данных
пространственно-временных координатах, и
смею предположить невероятное: друг не
бросит в беде, подаст руку,

предложит разделить хлеба и постель,
достанет микроскоп, наберет грязной воды из
ручья,

и вот вы ответственные ученые, кропотливо
изучаете кишечную палочку, которая
обнаруживает

признаки зловещей жизни, однако никуда не
спешит, ибо куда спешить, мыслит кишечная
палочка, дни наши быстротечны и сочтены, а
вселенная слишком объемна, незачем
исследовать ее закоулки, причиндалы и
неприличные места,

радостно отмечая некротические пятна, и
сквозь них, неприглядные, но по-своему
прекрасные приметы давно минувшего,
предметы первой необходимости,

я вижу, ты видишь, она видит, он видит
бесчисленное множество переотражений,
архитектонику ночного кошмара, полости,
в коих колебательные движения крошечных
созданий застывают

или

становятся вялыми,

но мы,

будучи сыздетства подкованными в
определенного рода знаниях, с отвращением
отвергаем движение как таковое, замираем и
фокусируем взгляд на цветном мельтешении
впереди – меньшая согнула

ладони рупором и на ухо шепчет подруге,
товарка, прежде снулая как глубоководная
рыба,

подергивается от внезапного смеха, и вся
компания решительно направляется в
противоположную от меня сторону, надо
поспешить,

перехватить школьниц возле выхода на
Рабочую площадь, ибо там затеряться совсем
легко, свернут направо, спустятся в подземный
переход, и поминай как звали, растворятся в
людских потоках, пропадут навечно, а это
будет

означать одно – слежка за мной принимает
агрессивную форму, и методы шпаны, более
чем прозрачные изнутри методы, заключаются
в том, чтобы не дать жертве почувствовать
слежение, и тем хуже для меня, потому что я
стану его каким-то образом ощущать, ведь
невидимость не означает что гады слились со
средой, а лишь то, что отлично спрятались,

из дальних щелей наблюдают карими
очами зачарованных царевен, готовые по
неведомому сигналу приступить к операции,
возможно,

со смертельным исходом, когда топашь
внезапно ногой и медленно поднимается уйма
пыли, и мама (или женщина со свечой –
трудно различить издали) производит
колебательные

движения ладонями, вот-вот поплывет в
призрачной пустоте, или чихает, и
перепуганные канарейки бьют крыльями,
срываются с насиженных мест и мельтешат в
клетках, покамест кошке уже невыносимо,
неможется,

в ней просыпается дикий, в сущности, зверь,
настолько же далекий от домашней кисы,
насколько она далека от нас, ибо мы
расположены на такой глубине, что едва

различимы и едва различаем детали
окружения – школьницы
крадутся за мной неотступно, регистрируют,
как точные механизмы, каждый мой
осторожный шаг за хитрыми бестиями;
сегодня должно свершиться;
еще вчера
я был вял как ночной мотылек, бродил по
окрестностям,
не давая себя заманить в ловушку, но и сам не
будучи способен никого заманить, с тех пор
прошло двадцать четыре часа, и вот я
собираюсь изменить провальную тактику (не
принесла никакого успеха в моих начинаниях
и поползновениях,
зато откинула меня как будто на несколько лет
назад, в еще более глубокие казематы, дыры и
отверстия, чем те, где я пребываю ныне) и
наброситься молниеносно, лишь бы выбрать
правильный момент и правильный
кусочек правильно отсечь при помощи тяжелого
кухонного ножа, который мог при любых
иных раскладах быть боевым оружием и
стяжать его владельцу неувядающую в веках
славу, а слава,
как известно, всегда кровавая, и ежели
подсчитать, милая Марта, сколько всего
лейкоцитов и эритроцитов вот в этом
неопрятном пласте плоти, пронизанном
венами и капиллярами, то, уверяю тебя,
получится число немыслимое, вернее, его
способны будут помыслить лишь гениальные
дети и деревенские

дурачки, режь быстрее, сука, пока теплое, пока
призрачно утреет и в небесной непроглядно-
серой мгле затерялось огромное солнце;

женщина

смотрит в окно и не видит гигантского
светила, растворившегося в облачной массе,
зато явственно замечает, как аккуратно, как
кропотливо, какими юркими проворными
пальцами сделан небесный свод, должно быть,
долго разминали серое тесто в ступке, прежде
чем наносить на противень;

отпечатки огромных пальцев, впрочем,
остались здесь и там, но, товарищ милиционер,
я никому не дам себя идентифицировать столь
примитивным способом, мои ладони всегда в
перчатках

и если я сейчас их снял, то исключительно для
того, чтобы изобразить важный телефонный
разговор, - не дать угрюмой торговке
заподозрить неладное, ведь она может
подумать:

мужчина

облокотился неспроста, наблюдает за
группкой школьниц (что будет, конечно,
неправдой – я лишь пытаюсь раствориться,
спрятаться от преследования, два – или три –
хулигана

намерены перейти к активным действиям,
биты, гирьки и цепи нацелены на меня);
собственно, локоть не так прост, как
представляется на первый взгляд; ты рубишь
кисть под острым углом,

а птицы,

взволнованные кошачьим присутствием,
дикими глазами бывшего хищника и,
вероятно, продолговатым пузырьком воздуха,
застрявшим в стекле над полосатой мордой,
отчего кажется, что

кошка погружается на дно океана, несчастные
птицы замерли на цветной картинке в твоей
глупой книжке, прости, я не умею читать, но,
судя по всему, речь идет о смертельной
болезни, ибо они измучены, лежат на боках,
клювы приоткрыты,

перья блеклы – однако, милый друг, каким
способом ты определил, что они именно
больны, а не мертвы, - пернатые создания
улетели в рай,

а тушки

лежат для вида, для декорации, наверно, их
даже выпотрошили и набили куриным пухом,
старыми газетами, зелеными и красными
пуговицами – или чем таксидермисты
набивают бедных существ, откинувших
коньки и отбросивших клюшки (и в таком
нелепом образе – на лед небытия),

и я

отчаянно улепетываю от шпионов или шпаны,
и (представьте мое экзальтированное
состояние) далеко не сразу замечаю, что
локоть зацепился за гвоздь (непременно
ржавый,

как эти выпренные скобки), скольжу на месте,
и тем смешнее выгляжу, чем быстрее
ускоряюсь. В моем положении, господа
хорошие, нельзя не замечать очевидных
плюсов – я дышу вкусным мартовским

воздухом, он наполняет мои внутренние
полости,

проникает в закоулки и посредством
химических процессов сливается с кровью, не
производя опасных пузырьков – к счастью,

к черту, пух, мех, домино – ты

выбираешь домино, младший скрещивает
пальцы, усталый в сторону догоревшей свечи
сквозь импровизированную решетку –

а другой, не менее

выразительный и жирный плюс заключается в
том, что я вроде бы догнал девчонок. Кто из
них Марта? Разве это не месяц? Сейчас не
месяц март, неодобрительно произносит
пенсионерка,

одеты вы не по погоде, зато я полностью
соответствую погоде, мне ветра не страшны, я
стреляный воробей, торговка буравит меня
насупленными очами и произносит
отрывистые предложения, но понять не
получается, потому что

бегу и вот-вот настигну добычу, слова
становятся бессмысленным бульканьем,
странно, что нет пузырьков,

срывающихся с губ.

Что мы знаем о разделывании туш? Вот,
допустим стою на крылечке, махаю топором
над тушею, кровь брызжет, ошметки плоти
разлетаются в стороны, из-за забора
подглядывают две

испуганные деревенские девочки,
подмигиваю, вытираю лицо тыльной стороной
ладони; начинается дождь; мать громогласно

зовет мальчиков, они будто прилипли, не
двигаются

и ждут моих дальнейший действий; под
дождем движения становятся неточными;
ливень усиливается, вода прибывает, и уже
я будто рублю сквозь воду, вяло и бесполезно,
медленно и нелепо, и тем интереснее
смотрится с забора мое занятие,

выродившееся в цирковую пантомиму; между
тем, скорбно думаю: под водой нечем дышать,
и они скоро умрут, жаль, у человека нет жабр,
как у птиц или кошек, а то бы помогли рубить;

детские тела в рубищах замирают,

коченеют, неспешно поднимаются к
пустынным небесам, и за ними, опережая,
лопаясь, отделяясь от туши, текут кровавые
пузыри;

воздух в крови способен привести к
летальному исходу, эмболия сосудов неба –
неприятная штука, и, подплыв, протыкаю
крупные; на меня льется ушат грязных слов –
наконец-то слышу торговку! – но,

согласно удобным и простым принципам
феноменологической редукции, все равно
выключаю ее из вопрошания о природе
видимого мира, потому

что сейчас буду заниматься им одним, дабы
уяснить окончательно и бесповоротно, кто
свой, а кто чужие, где восточная майя, где
весенняя марта;

от

картезианской редукции осталось, пожалуй,
лишь название и это благородное,

восхитительное название – единственное, чего
она достигла. Будучи

Декартом (я есмь Декарт, печальный
французский мыслитель; использование
московского языка – хищная дань ритуалу),
ваш покорный раб на цепи довольствовался бы
именем процедуры и, сгинул бесследно, сойдя

в винный погребок по ступенькам,
выдолбленным в снегу, но тот, кто желает
вновь поднять вопрос о сущности видимого и
неявного, не должен, чертыхаясь, вваливаться
в винные погребки, ему заказаны

гнусные притоны, ибо разум держать следует
кристально прозрачным, а волю – в узде;
вообрази, хозяин, на одно туманное
мгновение, что нет крикливой торговки,
пестрого прилавка, навязчивого рыбьего
запаха твоей промежности,

солнца (светило светлыми пятнами растеклось
по мрачному небу), быстрого, взволнованного
шепота, ручейков крови, рисующих на полу
затейливые абстрактные картины, даже гвоздя,

даже локтя, -

и, вообразив весь этот бесконечный беспредел,
ты парадоксально придешь к безобразной
мысли о том, что в действительности ничего
нет и быть не может, и самое сомнение –
продолжая картезианскую линию, выводешь
на клетчатом листе бумаги, -

не существует,

а значит в данном спекулятивном опыте мы
зашли слишком далеко, в такие заочные
области, куда Макар телят не гонял и,
покамест нас не вытурили отсюда при помощи

грязной тряпки, давай выбираться, а может
лучше построим новую крепость? –

вполголоса произносит младший, но старший
уже идет за матерью, которая, постояв
несколько минут неподвижно над хлипкими
постройками братьев, слабо улыбнулась и
двинулась назад; она периодически
оглядывалась и делала характерный жест
согнутым

указательным, будто стучала в стекло, и за
оним будто бесновались перепуганные птицы
в клетках, будто нарисованные на школьном
тетрадном листе;

что напугало птиц, спрашивает себя
маленький Декарт, стоя в нижнем белье возле
окна, неужели кошка? Кыш, проклятая! Хвост,

прижатый к задним лапам, недовольно
подергивается, животное демонстрирует
острые клыки и шипит, дама оборачивается, на
обычно невозмутимом лице сквозит явное
неудовольствие, прикрикнуть на гадину,
бросить книгой – нельзя: мальчики спят;
остается играть в гляделки, а это
бесперспективно

и чревато поражением;

сумрачный зверь истерично мяукает, и она
механически переводит взгляд на постель, вот
медные шишечки, вот витиеватые персидские
узоры на подушках, а детей нет, пропали,
словно таблетки, растворенные в стакане
воды, или объекты картезианской редукции,

неизвестно, кто вообразил,

что их не существует, однако теперь
приходится считаться с этим неудобным

фактом, размышляет Декарт, меряя шагами
узкое пространство балкона, где разномастный
хлам - старинный

комод, набитый старинным тряпьем,
перепуганные канарейки, лыжные палки – и
огромные пыльные окна, и за ними через
легкую снежную взвесь смутно проступают
торговые ряды колхозного рынка; силуэты
прохожих,

праздных гуляк и деловых людей, едва видны,
как сонные мухи копошатся на окоченевшем
трупe (грязном клочке мартовской земли) и
всего примечательнее среди них странный тип
с бегающими

глазками (представим,

что бегают), который очаровательно нелепо
крадется за тремя (возможно, двумя) девицами
школьного возраста. Будучи верны нашим
философическим принципам, мы заранее
знаем, что ничего подобного не существует, но
для того, чтобы провести редукцию наиболее
радикальным образом,

должны проследить эту цепочку означающих
до самого гипотетического конца; кто он?

Сложно сказать, наблюдая из окна за
сумрачной тенью; впервые крадется или
неоднократно репетировал на рынке
нынешние осторожные шаги; и девочки в
туманном далеке кажутся непонятными,
убегают ли в страхе,

смеются ли, заманивают ли соглядатая,
притворяясь беспечными вертихвостками, или
действительно ничего не понимают; грозит ли
им реальная опасность или прохожий просто

играет в свою игру с непонятными (нам, ему)
правилами;

вполне вероятно,

улепetyвает от кого-нибудь и только
притворяется соглядатаем, чтобы усыпить
бдительность хулиганов; как бы там ни было,
мальчики, смотрите и запоминайте, Декарт
щурится и трет запотевшее стекло, и теперь

кажется, что именно по этой стеклянной
дорожке движется мужчина; медленность его
перемещений объясняется отдаленностью от
нас,

добрых полкилометра отделяют остроглазого
зрителя от вожденной сцены, где бледный
актер провинциальной труппы играет не по
возрасту одышливую

роль, вот-вот догонит беспечных девиц, но,
увы, незадачливый маньяк зацепился локтем
за гвоздь в прилавке и бежит на месте,
ускоряясь, покамест на него ворчит и машет
тучная торговка, отсталая от жизни
пенсионерка, а девицы –

выжидательно стоят на месте, точно их
приколотил наглый гвоздик; вот они
предположительно двинулись – трудно
разобрать наверняка, кажется, конструкция
стоит на месте, однако она движется, потому
что рынок

остался позади, и счастливый джентльмен,
потирая руки и насвистывая, следует на
незначительном расстоянии; компания
завернула за угол, и он – за угол; компания
перемахнула через перекресток, и он –
перемахнул;

уже нет никаких сомнений, что цель его
определилась окончательно; и старый город
вырос, как на панорамном снимке заполняя
собой обзор, но что мы видим – там и сям
продуктовые киоски и торговые ряды,
предприимчивые цыгане продают пуховые
шали, крикливо

зывают народ, и не цыганка ли та
неприятная торговка, и нет ли гвоздя на
прилавке; двигайся аккуратнее, мысленно
уговариваешь главного героя, не то снова
угодишь на гвоздь; как лихой лыжник

флажки, он обходит препятствия и
оказывается на финишной прямой; веселая
компания плавно перемещается в подъезд
старого дома в девять этажей,

дальнейшая драма

будет разворачиваться там;

но так ли плавно происходило перемещение?
О, отнюдь! Что-то задержало молодых возле
подъездов, и это была... сперва,

пожалуй, нужно рассказать о том, что
хрущевка стояла на отшибе, на пригорке,
поодаль от прочих однотипных зданий,
особняком стояла, так сказать, хотя им не
являлась по определению, и в примыкающем к
строению дворике

расположилась типичная детская площадка с
грибком, акулой, песочницей и брусками
(окрыленно крутился физкультурник), тебя в
первую голову заинтересовала песочница,
потому что там в радостном одиночестве
копались лопатками два

мальчика – где мама? – потерянно
вскрикиваешь, и брат случайно *набрасывает* в
глаза песок, пока в кромешной слепоте
щуришься, готовясь завывать, набухшие
небеса разрываются грозным

ливнем, и потоки холодной воды очищают
мир, но куда бежать, сверкает, грохочет со
всех сторон, три страшно взрослых девицы
юркнули в подъезд с какой-то бабулькой, и ты
в панике тащишь

брата за руку туда – мы точно живем здесь? Не
знаю, отстань, мама вернется и тебе задаст, но
вернется нескоро, она в особняке, в роскошной
библиотеке выбирает

наобум книгу с увлекательными картинками;
например, смерть ангела; художник
перестарался, - ангел похожий на канарейку
лежит на боку, крылья прибиты к деревянному
настилу, в животе рана размером с кулак, и
мудрый эскулап

с кошачьими чертами лица любит
скальпелем, отчего даме делается смешно,
впрочем, безобразие, намалеванное на другой,
смежной иллюстрации, вновь расстраивает:
детский дворик, песочница и два малыша, чьи
глаза так густо замазаны песком, что даже
мелко штрихованный ливень не помогает,
приходится

в образе сердобольной бабульки вытирать
детские зенки, вести малышкой за собой,
поминутно озираясь, – нет ли погони? – и
таким неудобным макарон он приближается к
подъезду;

переступив порог, главный герой
проваливается в воду, забавно дергает

конечностями, как подопытный лягушонок, но
под действием неумолимой силы тяжести
уходит вниз,

однако подводная толща освещена скрытым
источником света (или сверху через щель в
кривых дверях проникает солнечный луч) и
отчетливо видно: медленно

размахиваясь,

подводный мясник рубит тушу небольшого
животного, его движения до того
неторопливы, что можно съесть пачку
попкорна или выпить чашку кофе, пока
бледный, хилый, худощавый

мужчина опускает топор сквозь воду, и куски
небрежно нарубленной плоти проплывают
мимо твоего невозмутимого лица, о
утопающий; если предположить, что
отвратительные девчонки скрываются здесь,
то

ошметки мяса и красные вертикальные ручки
служат им удобным прикрытием; нужно
тщательно все осмотреть, только воздуха в
легких становится меньше, и пока есть силы,
протагонист продолжает активность,
отталкивая

с пути синюшные лохмотья кожи, внутренние
органы, обломки костей, и другой навязчивый
мусор, дабы как можно глубже забуриться и
скрыться от соглядатаев, которые

уже настолько близки, что слышны хриплое
дыхание, осторожный шепот и шелест, и
шорох; один из них совсем маленький, лет
четырёх, но звериная злоба сверкает в зрачках,
хотя по-настоящему

страшен, пожалуй, второй, неопределенного
возраста, протирая кулаками глазницы от
колючего песка далеких пустынь, он
морщится и скалится, и дергает за рукав
напряженного брата – задуй же свечу, увидит!
– но тот погружается с головой в воду, сразу
выныривает с плеском и брызжет
из губ-трубочек в мое нарочито подставленное
лицо; поднимаются волны; мать волнуется;
волнуются и ангелы, срочно сооружая из туч
бездонную лейку. Начинается дождь. Влага
хлещет

на кущие березки с оборванными частично
ветками, на разноцветные автомобили, стекает
с зонта пенсионерки и вырывается из ржавых
желобов, оплетает прихотливыми ручьями,
словно абстрактным рисунком, детскую
площадку. Нас,

впрочем, занимает иной объект, а именно
здание в девять этажей – стандартное, крыша
утыкана телевизионными антеннами, на
стенах в положенных местах таинственная
матерщина, за круглыми отверстиями
холодильных камер в панелях под окнами
скрываются –

запомните навсегда –

банки с солеными овощами; у подъезда на
зеленой облупленной скамейке расположилась
говорливая стайка подростков женского пола;
ливень не мешает общению, ужимкам и смеху,
потому что

бетонный козырек мужественно принимает на
себя его хлесткие капли; лишённые малейшего
инстинкта самосохранения, они всей грудью
бросаются с края небес и вдребезги

разбиваются, (как, должно быть, рыдают
матери и отцы)

на тысячи новых брызг, и те в свою очередь
дробятся на более мелкие, и так далее –
механизм разрушения запущен неизвестным
извергом; и вот, вообразите,

только вообразите, стою на рынке в ожидании
Ольги, и за мной как будто искоса, исподволь
наблюдает некий неустановленный мужчина,
облокотился на

пестрый прилавок, делает вид что выбирает
товар, но, в сущности, выбирает момент,
чтобы последовать тайно за мной, и толстая
цыганка-продавщица, явно распознав его
злокозненные намерения, отчитывает этого
бесполезного покупателя,

и он собирается уже двинуться, да не тут-то
было – рукав напоролся на гвоздь,
подозрительный тип не может тронуться с
места, шаркает и шаркает

ногами, сам, наверное, не понимая, что
происходит, и вдруг (издалека обзор туманен),
замечаю, что он, напротив, не интересуется
мной, а пытается

убежать от двух отъявленных хулиганов,
стоящих в отдалении (с гирьками и цепями) и
чтобы он, наконец, двинулся, нужно его снять
с гвоздя или хотя бы указать

мужчине на столь досадную помеху, иначе
шпана приблизится и совершит
запланированное загодя грязное действие; ты
говоришь о гвозде, но почему уверена, что –
гвоздь, а не щепка, не кнопка, не

третий шпаненок присел под прилавком и,
защипнув рукав, не дает индивиду сбежать, он
самый маленький и ему особенно страшно под
прилавком в большой эмалированной ванне,
наполненной водой с пеной и пузырями,

дама смотрит строго и пристально и говорит,
что он ни в коем случае не должен разжимать
пальцы, иначе каюк, силы на исходе, ткань
ускользает и все-таки держится, и пена

летит в глаза пожилой цыганке, она отступает,
протирает веки и снова бормочет дрожащим
голосом, но разобрать нельзя из-за дождя, и
мы трындим на все лады, одновременно, так,
что услышать,

кто конкретно говорит на какую-либо
определенную тему, невозможно; если
смотреть сильно издалека на мир, омытый
влагой, кажется, будто движения не
существует, все

застыли в странном параличе, неизлечимом
ступоре, и худой, высокий мужчина в плаще,
пальто или спортивной куртке не
приближается к подъезду, а болтает ногами на
месте, словно его держит

невидимый гвоздь; пенсионерка, задрав голову
в платке, смотрит на козырек, - звонко
разбиваются последние капли; мне тоже
хочется посмотреть, но брат не пускает, в
веселой ярости топит меня,

и мыльная вода проникает через губы, я кричу
подружкам: спрячемся в подъезде и переждем;
в шумной уличной суматохе (дождь, ветер)
слова странно искажаются, и вот уже как
будто я сухими чужими

устами произношу: перережь,

перережь,

но это выполнить чрезвычайно трудно, ибо
дрожат руки и топор соскальзывает с куска
плоти, предназначенной для кормления
канареек; погоди,

ты ничего не путаешь? Канарейкам скормишь
разве что глаза, а плоть и кости, уж прости,
нуждаются в мощных челюстях и крепком
желудке какой-нибудь отъявленной псины, –
например,

ты пошел на рынок купить собаку, потому что
одинок и несчастен, собака нужна крупная и
преданная; рынок страшит торговыми рядами,
меж коих стремглав снуют пугливые, как
мышь, прохожие;

оступившись

и угодив ногой в мелкую ямку, наполненную
дождевой водой, ты внезапно понимаешь, что
собака будет – водолаз, но не можешь
окончательно решить вопрос имени будущего
питомца, топчешься

вокруг да около, и постоянно оглядываешься,
чтобы снова не угодить в лужу (густой ливень
оплел торговые ряды абстрактным узором
узких ручьев); водолазом

на данный момент является лишь твоя нога,
обутая в потрепанный ботинок или кроссовок
на липучке, когда она осторожно проникает в
ямку, то сперва не достает дна; если бы
миниатюрная камера, вмонтированная в пятку,
передавала изображение

на твой старый цветной телевизор, что увидел
бы ты, развалившийся в кресле вальяжный
домовладелец, - мы предполагаем: зажженные
свечи на комодe, неопределенную

тень в углу, бледную женщину в цветастом
платье или кимоно; неуверенно, как слепая,
она бредет между книжных полок, набитых
древними фолиантами, внимание ее цепляется
за книгу на самом верху, но

чтобы дотянуться, даме не требуется лестница,
- толкается голыми ступнями и моментально
поднимается к нужному месту, неспешно
преодолев в воде пару метров, теперь
окончательно ясно:

на ней водолазный костюм старинного
образца, - какую же книгу читает дама? с
минимальным количеством текста и
множеством черно-белых

гравюр, где изображены славные дни давно
отгремевшей войны за независимость
неизвестной республики – последний чудом
сохранившийся дом на отшибе, шпана возле
подъезда, голодная, грязная, полуголая, как
все мы, кто выжил,

при этом удивительно наглая, беспечная и
говорливая, особенно выразительно художник
подчеркнул следы от наручников на запястьях
у крайнего слева (страдал в застенках
кровавых палачей) и шрам на шее у крайнего
справа, этот шрам,

если хорошенько вглядеться, выполнен в виде
круглого оконца, наподобие холодильных
камер в панельных домах, где тоже живут
люди, где протекает обычная

жизнь, успевшая всем надоесть, где девочка
ест несвежий салат и потом будет мучиться от
поноса, а глупый пес грызет стоптанный
тапок, но ничего медицинского ему не грозит,
и старший брат смотрит телевизор –
показывают

шокирующие кадры

военных действий, дом на отшибе (уцелел в
бомбежке), опытный оператор выбирает
драматичные ракурсы, камера под углом
наезжает на бесполое лицо трупа, крупный
план: изо рта свисает язык, на синей шее

округлый шрам; переключение на средний:
сердобольная бабулька с салазками, на них –
соленые овощи в банках, заботливо укутанные
одеялом; выжившие дают аккуратные
интервью:

три беспризорные девочки просили провести к
подъезду, боялись трупов на асфальте, с
синими языками, размозженными затылками;
сваленные, как принято, в кучу, мертвецы
мерзко пахли – затяжной осенью, сырыми
грибами, оплывшими восковыми свечами,
чем-то

неуловимо и баснословно живым; я тоже,
признаться, боялась мертвецов, и повела детей
окольной дорогой – через рынок, где цыганки
торгуют крадеными золотыми украшениями и
пуховыми шальями, и ледащие псины жмутся к
мокрым прилавкам в надежде

выклянчить кусок мяса; в небе периодически
грохотали отважные самолеты союзников;
ветер истерично завывал, а то

насвистывал; нам совершенно ничего не
запомнилось там, кроме
странного мужчины с бегающими глазками,
который плотоядно на нас посматривал, и
порывался двинуться в нашу сторону, к
счастью, что-то удерживало его, может быть,
обыкновенный гвоздь, выточенный детскими
или женскими
руками на огромном заводе в громкие годы
войны, – ты помнишь, сестра, пыльный
полдень, темный цех, покатую
спину горбуна-бригадира, и проволочно-
гвоздильный станок, визжащий как
сумасшедшая роженица,
пока
из него сыпались гвозди разного калибра, один
гвоздь, к слову, выпал из твоей слабой
ручонки, медленно, как через мутную толщу
воды, опустился на пол и, подталкиваемый
инерцией,
покатился
к трещине в досках пола, откуда истерично
завывал (а то насвистывал) ветер,
попасть
в дырочку велел сам Фрейд, посему попал и,
попав, очутился
в нескончаемом падении,
ибо никто не знает, что заключалось внизу –
возможно, трещина вела к центру Земли,
возможно, магнитные породы участвовали в
бесконечном цикле

притягивания/отталкивания железного
предмета,

или, проще – застрял в доске, которую потом
использовали, дабы соорудить прилавок,
похожий на крутую ступеньку лестницы, и по
ней, кажется, спускался кто-то чужой и
черный,

в водолазном костюме, и очи за стеклом,
томные, совершенно кошачьи, подчеркнута
равнодушно наблюдали за тем, что
происходит – гвалт в клетках, беспорядочные
половые акты, быстрые,

зазорные игры – кто кого обгонит в
ограниченном пространстве коридора, в
дальнем конце коего, тяжело спотыкаясь,
бредет Декарт – будто его одолел душный сон
– но отнюдь,

философ бодрствует, и за крепким лбом
развивается мысль о телесном составе, о том,
можно ли окончательно разделить душу и
тело, если с обыкновенной материей все ясно
загодя, то тело – вот в чем дело! – является ли
оно материей? и

это очень трудный вопрос, приходится
спотыкаться на каждом шагу, наваливаться на
прилавки, чтобы отдышаться, покамест
ненавидяще смотрят цыганки; материальность
тела требуется проверить опытным путем,
однако у нас недостаточно данных,

часть из них и вовсе недостоверна, а прочие
слишком легковесны, воздушны, как пузыри
из рыбьего чрева;

твоя задача состоит в следующем: едва
потускнеют последние ночные звезды,
превращаясь в первые утренние,

едва вдоль торговых рядов зашландают
прохожие, похожие на сонных глубоководных
рыб с чувствительными усиками (светясь во
тьме, куда они уплывают?), едва отгремит и
отхлещет бессмысленный и беспощадный
дождь, -

принеси мне свежего фиалкового мыла, я
буду, нагая, плавать в пене, и бить, со всей
дури бить, и полетят сверкающие брызги – в
зеркало, в потолок, в глаза твои;

ты

вскрикнешь и замотаешь головой,

он

переключит канал, нож войдет под жабры, и

она

с отвращением захлопнет страницу, – пора
понять, почему локоть не отрывается; мы
поднимемся на девятый, где полосатая кошка
всматривается в окно, точно

выслеживает пернатую добычу, впрочем, ее
внимание привлечено странной группкой
школьниц (в одинаковых или разных
одеждах), которые монотонно копаются в
песочнице, стараясь вылепить – плохо
различимый – объект,

задуманное не удастся, поэтому снова и снова
они ломают неясную структуру и возводят
вновь, – строение все больше напоминает
торговые ряды, где шландают редкие утренние
прохожие, и худая

пенсионерка в заштопанном пальтеце застыла
возле прилавка, всматриваясь в крошечную
круглую лужу, полную мутной влаги;
наступила ли она туда или уронила
неизвестный предмет и теперь
приглядывается, как бы половчее достать,
обдумывает

возможную глубину ямки, - что если мелкость
обманчива, и до дна не дотянуться ни
каблуком, ни рукой, приходится разбирать
устье и нырять в старинном водолазном
костюме, тяжело лавируя между вертикальных
красных ручьев, приземляясь за высокий забор
и жадно приникая к щели: около грубо
сколоченной избы он медленно, как при
рапидной съемке, вздымает топор и опускает
на ободранную

тушу, бьет по локтю, и ошметки мяса,
обвитые, словно абстрактными узорами,
ручьями крови, отправляются в подводное
путешествие;

кого/что бы ты взял с собой? маму и любимую
книжку; является любимой не потому, что –
увлекательна, но исключительно из-за
интересных иллюстраций, несколько даже
смелых для детского издания (на
вредных библиофильских раритетах выросла
отчаянная шпана): черно-белые гравюры, в
стилистике отчетливый привкус
девятнадцатого века, -

торговые ряды, обильные товары, изнеженные
нищие; пристальный взгляд воображаемого
искусствоведа останавливается на прилавке
мясника: ободранная туша небольшого
животного,

тошнотворный, невыносимый, резкий запах
чуть не сбивает с ног, я морщусь и все сильнее
дергаю локтем – куда там, пальто зацепилось
чересчур сильно, - отчаянно вырываюсь и
внезапно

чувствую резкую боль, по всей вероятности,
гвоздь проделал дыру в одежде и сейчас
воткнулся под кожу; прикрываю веки, чтобы
сразу не закричать и слышу, как неподалеку
ворчит низенькая тетка неопределенного
возраста:

перед ней разыгралась неприятная история,
один из уличных мальчишек, из будущей
оголтелой шпаны, плеснул в другого песком, и
оба от неожиданного страха заплакали, скоро
подойдет мать в махровом

халате на голое тело, уведет отпрысков в
особняк, стоящий на отшибе, и долго будет
протирать глаза ребенку, дабы тот сияющими
восторженными очами взглянул на розовый
туман утра,

оранжевые полосы рассвета, на автомашины –
какими маленькими кажутся снизу! – и вот
группка школьниц – застыла у подъезда,
неустановленный мужчина важно наблюдает
за ними из-за угла,

периодически совершая попытку
приблизиться, но с вершины птичьего полета
трудно понять – движется объект или стоит на
месте, сами движения его, в сущности,
неразличимы,

хотя мне до некоторой степени ясно, что все-
таки я понемногу перемещаюсь, ускользя от
злонамеренной шпаны за бетонные спины
высоких домов, чрезвычайно сложно

уяснить – меня ли гонят или я сам
выслеживаю добычу; внутренний голос
советует не заикливаться на тонкостях
восприятия и белиберде

физических границ, а сосредоточиться на
школьницах (Марта?), сориентировать
мужчину на незнакомой местности лучше них
не сможет никто (разве тощие

ворчливые бабульки в дореволюционных
подштанниках, но они вымерли триллион лет
назад); прежде чем задавать вопрос, нужно для
самого себя уяснить пункт назначения; отчего-
то странным образом кажется мне, что, лишь
спросив, моментально пойму,

и вот поднимаю повыше воротник, натягиваю
черные очки, треугольником широкого шага
переступаю бордюр тротуара и распахиваю
рот,

уже готовый произнести важное, и здесь, на
этом переломном этапе, становится ясно:
передо мной отнюдь не безобидные
школьницы, а два вальяжных,

два наглых подростка – подвело плохое
зрение; типичная старческая проблема,
организм разрушается, смутные тени пляшут
вместо людей на улицах, вместо

помоев из ведер выплескивают кровь; шарю в
карманах – выудить конфетку, подарить и
задобрить, но нащупываю ключ, серебристый,
с зазубринами, и вот эти

зазубрины, как чешуя усыпающие его
холодное горло, крайне неудобны в мгновение
открывания, в момент соприкосновения
дверной скважины и жесткой бородки ключа,

можно час без толку провозиться и не попасть
в квартиру или неправильно

повернуть ключ и случайно очутиться в чужой
квартире, где забегает, заголосит испуганная
цыганка, прикрывая скромный скарб,
предназначенный для продажи, и муж ее,
бывший подводник, грозя кулаками, ринется в
битву,

и вот они уже мутузят друг друга, яростно
сопя, меньшей побеждает и, несмотря на то,
что мать дремлет, ребенок издает победный
воплъ и начинает раскачивать ванну (пузатая,
стоит на тонких ножках

на кафельном полу), и я, ощутив тоже
невыразимый словами восторг, помогаю ему
толкать ключ в ямку, полную дождевой влаги,
а в дверь колотятся и рвутся, хотя я несколько
раз повторил, что психически болен –

я болен, оставьте меня в покое, -

и ежели не прекратят, буду вынужден в
срочном порядке покинуть помещение; но
куда двинуть копыта, куда вильнуть? На север,
в глубокую мглу;

натянуть на уши шапку ушанку и по колено в
сухом снегу, – неведомые края, невероятная
гиль, льдины застыт видимое пространство во
весь горизонт, и если брести по ним налегке
кокетливой походкой, придешь к торговым

рядам, где суровые северные люди,
внимательно наблюдают: девчонка ты,
которой можно доверять или подозрительный
парень, пройдоха, а коли с тобой окажется
друг или два друга – пиши пропало на листе
линованной тетради, выводи

сердечки, признавайся в любви, загадывай
желание и открывай секреты; я любил
рисовать водоросли в тетради по литературе;
мы не хотим учиться и пробуем избежать
школы; он ходит

по кругу с точильным камнем и пытается
подточить ключ, который кто-то с далеким
сдавленным криком спускает сверху сквозь
напластования мутной зги, водорослей и
световых пятен; ключ

должен стать острым как гвоздь; главное —
избежать зазубрин, менторским тоном
произносит он, ученицы кропотливо
записывают каждое слово, девушкам не
терпится по свежему хрустящему ледку
побежать домой,

но урок только начался, мерно гудят
люминесцентные лампы, как яркие морские
твари, распластанные по потолку, в соседней
камере временно оборудована тюремная
библиотека, и любой заключенный, при
условии надлежащего поведения, может взять
на руки увесистую книгу

и надолго погрузиться в увлекательную
историю, впрочем, местные обитатели в
основной своей массе не любят читать, им
больше подавай картинки рассматривать,
совсем

атрофировалось у народа чувство печатного
слова; это история про успешного детектива,
который (а прежде он щелкал дела как
орешки) столкнулся с загадочным
преступлением; полиция

признала себя бессильной; и вот Жюль,
возможно из чистой тщеславности, из желания

показать коллегам, кто тут настоящий профессионал, берется раскрыть убийство в кратчайшие сроки, хотя,

если говорить откровенно, не до конца ясно, совершено ли убийство, но имеются определенные следы и улики (гвоздь, выемка в песке, клетка с птицами), сопоставляя улики, Жюль подспудно ощущает, что комбинация чрезвычайно хитрая и простому анализу не поддается; детектив

теряет сон и покой, дни и ночи проводит, решая головоломную загадку, он страшно худеет и превращается в бледное подобие прежнего Жюля, перестает различать свет и темноту, путается в пространстве, и в конце концов

оказывается перед закрытой дверью, каким-то образом он знает, что если откроет, то все мучения прекратятся – начальник полиции вручит награду, секретарша предложит тайное свидание, на газетном развороте напечатают фотопортрет его мужественного профиля, -

мужчина

бессмысленно и бесполезно колотит по ней кулаками, царапает ногтями клеенчатую обивку, грызет зубами стальную ручку (увы, он уже потерял человеческое лицо); потом печально

шарит в карманах и неожиданно нащупывает ключ, чье наличие резко меняет настроение детектива – теперь он насвистывает веселую песенку; протагонист

даже не пытается вставить ключ в скважину и открыть дверь, потому что само присутствие

этого маленького предмета вселяет в него
необыкновенную самоуверенность; потеряв
весомую часть былой бдительности, он идет
на рынок, купить шаль жене-цыганке,

о чем немедленно становится известно
местной шпане; вот они чумазые (помыться не
помешает), в лохмотьях, шушукаются и
перешептываются, подзадоривая друг друга,
бренчат цепями, поигрывают гирьками, но
никто не готов первым, каждый валит на
товарища, а товарищ валится в зеленоватую
воду и лежит

кверху брюхом, как уснувшая серая рыба, и
скучающий Декарт проходит мимо по своим
важным делам или, что вероятнее, дел у него
нет, и он неспешно прогуливается в это
мартовское утро по безлюдной площади;
заметив,

что вдали чернеют торговые ряды, ученый
решает прокрасться или пробраться туда, в его
обширной черепной коробке созревает
смутное чувство, наверное, схожее с
предполагаемым результатом
феноменологической

редукции, когда от вещей, от их докучной
вещественности не остается ровным счетом
ничего – чистый свет или размытая тень, и вот
тут-то рождаются пять минут славы для
ленивой мысли ленивого путешественника
между прилавков,

если совсем недавно ее наводняли глупые и
банальные бытовые представления – трещина
на пульте, выпотрошенная тушка, скользкие
края ванной, - то ныне

свободный путешественник мыслит только
саму мысль, и все равно в какой-то момент он
понимает, что не может отрешиться от
неясной тревоги, которая поначалу всплывает
с неизвестного дна, но постепенно

находится источник, - видимо Декарт был
слишком неосторожен, пробираясь и
продираясь среди длинных рядов, потерял
привычную бдительность или глубоко
погрузился в редукцию, заставляя исчезнуть
назойливых цыганят, мертвых птиц,
разноцветные шали,

вездесущую синеву, истошный вопль ветра, и,
потеряв, облокотился, – а там уже пришли в
движение иные силы, неподвластные разуму и
его аккуратным операциям, откуда-то возник в
прилавке

<остро отточенный> гвоздь и впился в область
локтя, мои торопливые попытки
высвободиться ни к чему не привели, потому
что я вел себя, как последний болван,
суетился, кряхтел, бормотал и на
вопросительные

взгляды торговли не отвечал, мне было
стыдно, хотелось сию же минуту убраться
оттуда, но ноги напрасно проскальзывали по
гравии, никуда не унося неудобное тело,
гвоздь,

как стало известно потом, оказался большой,
крепкий и наглый, с каждым рывком моим он
заходил глубже и глубже, пока не вошел под
кожу, чего я сперва совсем не почувствовал, -
только усилилась тревога,

даже померещилось, что я все-таки оторвался
и двигаюсь в направлении группы беззаботных

девочек, как канарейки щебечущих о
школьных проблемах или неизлечимых
болезнях домашних питомцев; щенки
(или канарейки) часто подвержены резким
непредсказуемым сменам настроения; мой
щенок сидит у окна с независимым видом и
шикарным видом на внутренний дворик, где с
подозрительным видом

прогуливается малолетняя шпана, напрочь
лишенная моральных основ и здоровых
нравственных качеств, можно проследить и
понять, что молодые бандиты пристально
наблюдают за школьницами

на лавочке возле подъезда, неизвестно, какие
мысли колобродят в бритых головах
сорванцов, возможно там колобродят и бродят,
и бредят неотчетливые сексуальные желания
или убогие садистические фантазии, - как бы

там ни было, в наших силах, товарищи
жильцы, остановить гнусные поползновения,
но каким же образом - подписать петицию о
поголовном истреблении гопников при
помощи топора и дожидаться ответа,

или вызвать инспектора по делам
несовершеннолетних и предоставить ему
самому разбираться в сложившейся ситуации,
неприятной проблематике провинциального
детства, но что если инспектор откажется в
очередной раз связываться с неисправимыми
хулиганами,

замашет руками, отшатнется, закричит,
замычит сквозь стиснутые губы, будто у него
болит горло или зуб, и пошлет нас куда
подальше – на лестницу, я выбегаю первый,

босой, и она не замечает этого, потому что
погружена в отвратительную книгу,
бедный брат с *ярким хохотом* (Н. Языков)
исподтишка толкает невнятную старуху,
стоящую в подъезде уже полчаса, час, бабка,
охнув, катится по ступенькам, пробует клюкой
уцепиться за перила,
но вместо перил невзначай захватывает мою
ногу, и я, повизгивая как щенок, складываюсь
пополам и качусь вместе с ней, и если
поначалу падение и перекатывание туда и
обратно по этажам кажутся ошеломительно
быстрыми, то постепенно,
спустя час или два, движения замедляются, и я
уже могу разглядеть облупленные стены,
изрисованные непристойностями, цветочные
горшки, снулые акульки морды, и
равнодушную
торговку, которая пересчитывает мелочь и не
обращает внимания на двух подозрительных
пацанов, они воровато крутятся рядом с
прилавком, хотят улучшить момент и слямзить
или даже стибрить
нечто ценное – шаль, часть пышно разодетого
манекена, морскую звезду; необходимо в
строжайшем порядке пресечь преступные
намерения; от меня требуется немало
мужества и выдержки,
я не спускаю глаз с этих бледных девочек,
смеющихся в узком, замкнутом и гулком
пространстве подъезда, куда они угодили не
без помощи ретивого милиционера,
услужливого прохожего, доброжелательной
пенсионерки, куда я бы сам смог доставить их
с невероятной

легкостью в объемных продуктовых сумках,
да, боюсь, меня ждут более важные дела по
увековечению ангелов, птичьих клеток и иных
символов в черно-белых гравюрах, да, я
художник-самоучка, грешен расписывать
голые стены, и часто

меня не отпускает волнительное чувство
неожиданного и мучительного вдохновения,
когда фигуры пойманы воображением, но
нужной стены поблизости нет, вот и
приходится, как слепому, щупать пустоту
перед собой, касаться

хмурого лица торговки, и невидимым мелом
вычерчивать на нем контуры распахнутых
крыльев, темные провалы трупных пятен и
перекладины погасших окон; она, видимо,
думает,

я – священник, и сбрендил от отсутствия
товаров первой необходимости – мягких
шалей, женских поясков, - и хрипло
произносит: “берите последнее”, но стоит мне
на минутку заняться изучением вещей, как
мальчишки

приближаются вплотную к прилавку, так, что
делается тяжело дышать, настолько сильно
они давят с двух сторон; дабы не вспугнуть
возмутительных воришек, наклоняюсь низко,
словно

заинтересованный блестящей чепухой
обыватель, беру шаль и как в теплую кровь
погружаю в нее пальцы, я до того близок к
ней, что вижу каждую отдельную шерстинку;
иногда

чудится (случайные мысли я тщательно, хотя и
неразборчиво, фиксирую на тетрадных

листах), что шерстинка всего одна, зато высокая, как девятиэтажный дом и толстая, как глиняный колосс; она

не движется, в ней нет отверстий, дверей и окон, но чем я дольше хожу вокруг да около, тем больше понимаю ее страшное одиночество, хочется

в огромном стволе шерстинки вырезать дверь – слепая надежда, что оттуда выйдет некто или нечто, и обнимет, и скажет слова утешения, не оставляет меня, наоборот, заставляет

действовать, двигаться, копошиться, напрасно вертеть плотно стиснутым кулаком, в котором нет ключа, только гвоздь зажат в моем кулаке, господа, обычный строительный предмет, требуется приложить немало усилий, чтобы

использовать его в качестве импровизированного ножа, но постепенно удается, и удается, заметьте, с плавностью сновидений или половых актов; сперва я рвал и метал, не умея как следует взрезать шерстинку, но с опытом пришла

и текучая плавность сновидений, и легкость праздного донжуана, я примерялся миллион раз, чертил невидимые линии и однажды проник в трепещущий ствол, вырезал дверь; мечты сумрачной молодости сбылись стократно; из кривого

отверстия потянуло холодком, потом стали выходить смуглые, смутные, перепутанные дети, не похожие на детей, а на кого они были похожи, спросит следователь или исследователь, и я отвечу: на рыб, спящих в подоле деревенской дурочки; а то

вместо ответа вздохну, поскребу недельную
щетину и снова скошу взгляд в сторону: они
напирают, прижали плотно, невыносимо;
даром – сорванцы, беспризорные оборванцы, а
обладают даром втираться в доверие, вот и
женщина успокоилась и уже не так нервно
вздрагивает,

встречаясь глазами со мной, неужели она по
своей простосердечности не понимает, что еще
минута – и шаль украдут, а потом напялят на
плечи манекена, обнаруженного на свалке,
будто это не кусок пластмассы, а полноценный
человек, чья-то

любимая бабушка – так ведь можно и
обмануться, если смотреть с девятого этажа,
пока в тесных клетках громкий переполох, и
ужасное беспорядочное хлопанье крыльев
напоминает

телевизионные помехи, обмануться и
обмишулиться, и действительно
предположить, что подростки спрашивают
дорогу, дом, адрес, и обиженная бабулька
клюкой отгоняет хулиганов, но им нейдет,
они продолжают

прыгать на одной ножке, растопыренными
перстами показывать смешной нос и все
плотнее подбираться к товару, сдавливая мои
ребра: ни пикнуть, ни вздохнуть, ни подумать,
ни

разобраться в неловкой ситуации; оставшийся
воздух со свистом выходит изо рта, и я
одичало озираюсь, инстинктивно выискивая
удобное место, чтобы безопасно упасть без
сознания, за прилавком

сереет жестяная ванночка, должно быть, в ней
полоскали белье, и я хочу упасть, хочу
окончательно лишиться сознания, но что-то не
дает, и это гвоздь, тот самый, какой впился
давеча в рукав (и глубже),

я

дергаю, дергаю локтем, проклятая железная
заноза входит в сухожилия, заставляя меня
корячиться и корчить рожу; неприятели трутся
боками, давят, и я каким-то образом понимаю,
что вижу обоих одновременно, следовательно,
подпал под власть

сезонного оптического обмана, (часто является
ранним мартом к солидным гражданам и
заставляет изумляться плетению ручьев в
черных земляных

бороздах), и подростки расположены на
порядочном расстоянии: собрались вокруг
брошенного манекена с макияжем и
оживленно болтают, но что же тогда душит,
хотел спросить я вас, господа,

и внезапно понял – ворот пальто стянулся от
того, что гвоздь прихватил локоть, еще
немного и задушу сам себя; поразившись этой,
в сущности, сумасшедшей мысли, я прекратил
рваться, бежать, раскачиваться;

вертикаль

трезво и рассудительно оцени ситуацию,
взвесь возможности и обстоятельства; взять,
девочек, которые спят в соседней комнате и

видят удивительные сны, - что вырастет из
них, задается

веселый воспитатель риторическим вопросом,
готовится всплеснуть руками, горестно
всплакнуть от бессилия, и вдруг во всем
детском доме гаснет электричество, и
особенно неуютно

от того, что потух телевизор, детям
совершенно неважно, есть свет или нет, а мне
– отнюдь, я стал слепая медуза; вытянул
тонкие пальцы и ощупываю темноту, чтобы
переместиться в безопасное

место; чувствую тихие шаги, тяжелое
дыхание; господин санинспектор, простите,

я не сделал ничего дурного; чистотой
альпийских снегов блистает сантехника в
уборных и душевых, и души воспитанников
блистают первозданной

лепотой, и, отлично смазанные, не скрипят
ручки кранов, и кафельные полотенца
возвышаются, стиранные, в каморке
кастелянши, той, что на костылях ковыляет,
впрочем,

насчет костылей он не уверен, но знает
наверняка – пенсионерка ходит медленно и
часто останавливается передохнуть, как снулая
рыба, словно воздуха не хватает, длинно
хватает

воздух узкой щелью рта и пробует двигаться
дальше в сплошной темноте; впереди –
тусклый луч света; санинспектор скребется
возле входной двери, желая попасть ключом в
замок, но лихо орудуя гвоздем; и

настойчивость, навязчивость одного товарища
меня чрезвычайно, если не сказать –
неимоверно, - нервирует, я бы устроил ему
хорошую взбучку, когда бы не занимался
более важными делами,

ВОТ-ВОТ

приедет санинспектор, или даже

ВОТ-ВОТ

придет по лужам кинжального цвета,
примчится на роскошной карете, приплывет в
водолазной маске и непременно захочет
выполнить во что бы то ни стало свои прямые
обязанности;

какой у тебя сан? кто ты сам? как мне назвать
себя и данное заведение? стыдно за
обитательниц пустоголовых – могут взвезть
запрещенные пылинки или повесить звонкие
голоса за пределы

допустимой нормы децибел, как две птицы,
назойливо щебечущие в квартире соседки,
которая куда-то ушла и оставила открытой
дверь, и кто-то (бегают глаза, воротник высоко
поднят) скребется

в подъезде возле апартаментов – намерения
определенно у него злокозненные, вопрос в
том, справится ли незнакомец с замком до
того, как появится хозяйка; конечно, нетрудно
и так войти, ибо не заперто, но внутренний
голос (или кодекс вора)

не разрешает проникать в легкодоступные
помещения, нужно ломать, бить по живому,
кромсать и отрезать, покамест не забрезжит
тусклый свет из тусклой

тучи за занавеской, и не махнет веником
ворчливая или даже бранчливая уборщица,
стараясь навести повсюду идеальный лоск;
проинспектировать дозволяется, но где
инспектор? – любопытствует персонаж,
а вдруг уже в здании, прыгает ледяная мысль,
и за ней другая, и третья, - все комнаты в
беспокойных мыслях, значит нужно устроить
превентивный осмотр убранства, резонно, как
ему кажется, замечает мужчина,
толстая торговка с подозрением косится на
него; неужели проговорил вслух? срочно
реабилитироваться, пропеть эти слова, будто
строчки популярной песни; однако звуки
застревают в горле, получается только
надрывно откашляться; дети
отшатываются и падают друг на друга в
песочнице; персонал в ужасе: разносить грязь
не дозволяется никому и особенно запрещено
осторожным кошкам с мягкими лапами, -
затопать, пустить
трещотку, бросить книгой, - несимпатичный
персонаж задумал выгнать неопрятное
животное под проливной дождь, но дверную
ручку заело, - рвется, пыхтит, дергает, и вот
приоткрыто, пахнет невыносимой вонью из
гортани сырого сада, господин санинспектор
широко шагает в дом, нацепив
дежурную улыбочку, дети с воем рассыпаются
по темным углам, уборщицам и бухгалтерам
приходится с силой удерживать входную
дверь, покамест он скребется, пытаюсь войти; я
навалился локтем и прислушиваюсь к голосам
мальчишек на верхотуре:

неразборчиво, однако эмоционально; часто
повторяется слово “ямка”, по ассоциации
перевожу взгляд на дыру стеклянного глазка,
приникаю и проникаю

угрем на ту сторону, где хулиганы от скуки
долбят палками мерзлую землю и обсуждают
неведомое, невидимое мне, то, что, возможно,
требует самого колоссального инспекторского
интереса, -

пятно ржавчины на кишкообразной батарее,
мокрые следы на полу, незастланные постели,
– моим первым побуждением было застелить и
замыть, и поскользнувшись на злополучных
следах, я упал в невероятную мокроту,
отплевывался и отфыркивался, и погружался
глубже,

и яростно греб, дабы всплыть и горестно
вопить: о, санинспектор, кто выдумал март, не
ты ли?

почему ты

приходишь незаметно и не затемно, а на
рассвете, и тыкаешь во все углы граблями, как
у себя дома, и укрываешь плащом папочки и
тесемочки, а пестики и тычинки считаешь не
заслуживающими внимания, но токмо соринки
и хвостики от колбасных шкурок;

ты ли хозяйничаешь или ветер скулит и
скребет в распахнутых пахах наших шкафов и
тумб; скоро приедут новые постояльцы, -
потрудись, поскреби шваброй, милая
уборщица, полы

должны блистать и слепить, и если
санинспектор слепой, тогда по скрипу
определит: чисто,

нормы соблюдены,

и заплетены

косы

у паршивых мальчиков, лишенных и намека на половое созревание; посади детей в угол, дай книжку с картинками, лишь бы не шумели, не шалили, лишь бы шелестели страницами, рассматривая древние казематы, базарную площадь, весенний денек, и вот он
замахивается

топором и под ужасной тяжестью заваливается и падает в ледяную прорубь, пробитую наглыми гопниками; тело не спешит расставаться с жизнью, бормочет и лепечет, и пускает пузыри, и розовых

рыб озирает, но дыхание перехватило, конечности свело, и светла верхняя плоскость, граница вещества; в нашем невесомом состоянии нельзя дотянуться туда, и мы простираем бледные пальцы, щупаем тьму, щиплем

колючий мрак, - почему колючий, мама? - Потому что, мама, утро наступило и земля оплетена ручьями, словно абстрактными узорами и между затейливыми рисунками осторожно шагает

слепой санинспектор, выбрался из лабиринта торговых рядов и спешит в детский дом – провести

срочную экспертизу труб и раковин, осталось раздобыть адрес и ключ, разжиться инструментом, прочитать инструкцию как

вести себя в тех или иных обстоятельствах;
обстоятельства способствовали

перемещению отдельных лиц в отдаленные
углы; гостиная опустела, подслеповатая
уборщица долго бродила между постелей и не
могла найти выход, шарахалась шорохов, -
маленькие рыбы с ядовитыми зубками? –
трогала

облупленные стены (с легким треском
отваливалась и падала зеленая краска), и
ладони борздили бетон, как ловкие лодки-
плоскодонки, ощущая прохладные места и
таинственные выемки, и не боялись
(совершенно напрасно) заноз и насекомых, и
когда я

потерял всякий стыд и страх и стал елозить,
полностью опустив руки на шероховатую
поверхность, локоть меня подвел, наткнулся

на острый осколок затвердевшей краски

или гвоздь, да, гвоздь,

на котором прежде висела картина (румяные
девушки, румяная весна, торговые ряды),
доставшаяся мне по наследству от
предыдущего владельца детского дома,
большого любителя изобразительного
искусства и капитального

ремонта, он и сам нечто абстрактное рисовал,
уединялся в кабинете, – после него остались
непристойности на стенах и каракули на
тетрадных листах, в оных пытливый взор
исследователей находил свое, близкое – кому-
то мерещились ручьи, кто-то

прозревал морскую тину, а мне, тотальному
дилетанту во всем, что касается творчества,

удалось разглядеть заостренный, зазубренный
ключ, висящий в подсобке, куда я двумя
днями позже и забурился с намерением
спрятаться от разгневанной уборщицы;
директор,

измученный ожиданием санинспектора,
осерчал из-за нелепой мелочи (соринки,
следов на полу), и отчитал женщину так
жестко, что она долго плакала, забившись в
уголок, и дабы успокоиться, водила ладонями
по облупленной

стене, где я, пришпиленный, отчаянно
извивался, в панике (и сослепу) не понимая,
что происходит, кто держит вашего покорного
раба за локоть; а в комнатах шурует
специальный человек, - документы и
инструменты при нем, - неизвестно,

насколько далеко простирается его
компетенция, возможно, за пределы нашего
разумения; и ежели найдет пятно или след -
пиши пропало, и ежели обнаружит скрипение
стульев – беги из города; мне бежать,
представляете, некуда, скудный скарб мой
здесь,

я

душевно привязан к этому тихому месту и
окрестностям; да и как бы я мог – ведь и
пришпилен; глупости оставляю в стороне и
думаю о предстоящем – уйма хлопот, море
забот, необходимо провести санитарную
обработку всех поверхностей –
криволинейных и прямолинейных – поелику
прибывают

свежие девочки, жертвы дурного обращения
со стороны родителей, жертвы равнодушного

общества и напыщенного публицистического
слога, - крахмалить простыни поручено
кастелянше (она же

и повариха), но лень-матушка одолела эту
бестолковую даму, сонными, ничего внятного
не выражающими глазами уставилась на стену
словно в мутное зеркало или будто пытаюсь
отыскать сходство

стены с простыней – вот оно, найдено спустя
несколько вялых минут, не нужно обладать
оптикой часовщика и памятью искусствоведа,
чтобы заметить определенные выемки и
трещинки и сопоставить их с характерными
складками и морщинами; если

не доверяешь мне, подними простынь и
совмести со стеной – совпадут мельчайшие
подробности, - удивленный, ты отпустишь
концы, и белая мгла опустится на тебя,
закутывая и запутывая, лишая

возможности нормально существовать,
принимать пищу, скользить по дну,
раскрывать рот и глазеть по сторонам; он был
частично ослеплен и от неожиданности едва
не сверзился под прилавок, содрав с головы
тряпку, погрозил

кулаком пенсионерке, которая стояла с
виноватым видом и до сих пор не хотела
приступать к своим прямым обязанностям;
пятна и следы ждали уничтожения, однако
ребристые ручки крана не шевелились,
застыли на месте и не

пускали капли полезной влаги; я, отважный
исследователь запертых дверей и замкнутых
окон, пытался просунуть в дырочку тонкий
жилистый палец, и вскоре отверстие (плотное

у входа и мягкое внутри) расступилось и пропустило, но не настолько глубоко, чтобы директор безошибочно

определил причину поломки; в сырой трубе удалось нащупать твердый и острый предмет, похожий на ключ или гвоздь; и – минуту вся сомнение и страх – она решилась; знакомиться с проблемой поближе пришлось при помощи суровых дедовских методов:

кончики пальцев побелели, пока отчаянно расширяла отверстие, чтобы влезть целиком; растянувшись, по-пластунски ползти в узкой трубе водопроводного крана к неудобному предмету, пока металл вздымается и бугрится, и с ножами наголо

навстречу лезут бывшие беспризорники, впрочем, обознался – не мудрено в полумраке – (лампы мерцают и вот-вот потухнут), не ножи – а прошения и жалобы, и не дети – уборщица (она же кастелянша) прибыла умолять, теперь не разминуться,

вынудит читать, ставить резолюции, реализовывать; слишком поздно замечаешь, что в кране нечем дышать; исчерпав собственный воздух, подплыл к уборщице, у нее страшные большие глаза, ярко покрашенные (не терплю потаскух в персонале) – нужно

сделать втык, выдать замечание, жестко пропесочить нарушительницу негласных правил, но катастрофически не хватает воздуха, и распахнув пасть с острыми ядовитыми зубками,

приникаю к ее рту и сосу дыхание до тех пор, покуда она не перестает подавать признаки

жизни, затем внимание мужчины устремляется к листкам с ходатайствами, на которых Декарт гусиным пером вывел:

больше всего мы любим ездить в кабине лифта, молочно-желтым светятся кнопки, так и подмывает нажать указательным на нижнюю, но младший не достает, а старший побаивается; мать пребывает в тревожном ожидании, прислушивается к уханью и гулкому грохоту –

случайная птица периодически порхнет в шахте или трос просвистит, и отпетые хулиганы кричат вверху или внизу сквозь замкнутые двери, образуя сильное эхо; осталось

нажать кнопку, и громада тяжело двинется; братья сцепились в борьбе и вяло копошатся под управляющей панелью, – что не поделили они, спросит удивленный соглядатай, и Декарт скажет: книжку

с картинками, купленную матерью давеча на рынке; очевидно, старший возьмет главный приз, и понесет роскошный фолиант на вытянутых руках (или прижав к груди) по узким коридорам детдома,

временами испуганно вздрагивая и озираясь; если стучат, значит пришел санинспектор, и любое промедление подобно смерти, бросай писульки и рисунки –

беги, встречай, кричит кастелянша, сама застряла в дверях, подол предательски попал в щель, и теперь женщина рвется и бьется, опасаясь, как бы я не заснул в кабинете, устав от бумажной работы; как бы

важный визитер не ретировался, измученный
тщетным ожиданием; кусок материи трещит,
но не поддается, ножницы на столе – не
хватает буквально нескольких сантиметров,
чтобы дотянуться;

представьте мое неловкое положение, господа!
Стою снаружи, колочу кулаком, из помещения
то и дело – крик, вой; понять, что происходит
– невозможно, невозможно и

осознать суть редукции, если ничего нет,
почему перед носом стена, почему тяжко ухает
и летает вниз и вверх безымянная птица;
трудно вообразить реальное небытие, с оным,
как правило, ассоциируется

тот фрагмент черноты, какой возникает в
мелькающей динамике моргания, эта
срединная мгла, задавленная ярчайшими
безднами, плохой репрезентант искомого
факта (объекта или вещи),

мы предлагаем взять за образец (représentant)
пробку для затыкания дыры в ванной,
приспособление полезное в хозяйстве, ибо
вода по обыкновению просачивается во все
отверстия,

и ежели поймешь, что мать колотится и
неразборчиво кричит за дверью, начинай
осматривать пол, не затекает ли влага в щели
(не хлюпают ли ботинки) – в тот момент,
когда кабина

целиком заполнится водой (девочки
нахлобучили громоздкие скафандры), лифт
тронется и медленно поползет в неизвестную
сторону; нерасторопный механик поймет, что
часть рукава зацепило

плотно сжатыми створками и примется
дергать и вопить; любой бы другой сказал:
хана, крышка, каюк; но я, пускай и уверен в
некой трансцендентальности смерти,
доподлинно знаю, что еще не пора – поскольку
движется гибельная машина со скоростью
миллиметр в час,

у механика есть время выпутаться из одежды
или найти иной выход; да вот те же ножницы
на столе – жаль, не дотянусь, проклятый
гвоздь проколол локоть

(о чем неоднократно упоминалось в
соответствующих параграфах) и от каждого
рывка все крепче насаживается, помогают
нанизыванию и содрогания лифта, в коем мы
движемся

с невероятной стремительностью, колени
дрожат, громыхает и трясет так, словно
происходит разгон ультрасовременной
подводной лодки –

еще секунда, и попадем не на девятый этаж, а
в темное пространство, сжатое тысячью
атмосфер, где летит белый пух от того, что
взбивают подушки, готовятся и торопятся, а
главный, бюрократ и подлец, пишет бумажки в
различные инстанции, добивается прибытия
санитарной инспекции,

и оно скоро состоится, уверяю тебя, мне
хорошо известна личность инспектора, вершки
и корешки его жизни, а также его манера
проникать незаметно и шастать по безлюдным
коридорам в надежде отыскать отклонение от
нормы, нарушение требований, а коли
отклонение – явное, а нарушение – вопиющее,
он испытывает восторг

следователя, поймавшего шайку головорезов,
психологические истоки столь бурной реакции
идут безусловно из детства; мне было семь,
ему – пять, мы плавали между черными
кораллами и бархатистыми водорослями, -
наткнулись на раздутый труп утопленницы,
совсем еще

девочка, она подговорила подружек
бойкотировать постылого крючоктвора;
младший испуганно прижался к ее голой ноге,
мать прикрикнула: “отстань, сейчас будем!”, в
открытые – ворвался

пряный запах весны, и я увидел: у трупа
отрублены руки по локоть, и, поднимая
песчинки, пугая глупых рыбешек, заработал
ластами – прочь, однако праздное
любопытство взяло свое, и я одна, без
подружек, вернулась туда, где шли ремонтные
работы,

то и дело звучал хриплый матерок, и шахта
лифта распахнута настежь – из бездны
сквозило; что заставило меня подойти ближе и
даже склониться над ямой, откуда доносились
странные, в каком-то смысле потусторонние
звуки, -

неведомо, досужая ли удаль, беспечность
юности, бравурная беззаботность, не все ли
равно, гораздо увлекательнее с точки зрения
сюжетного наполнения романа описать тот
мой роковой день

от начала до финала, от фиансе до фиаско, от
Аляски до Филиппин; вообрази, хозяин,
прелестное красное утро и прекрасные ветра,
веющие за закрытыми ставнями и веками, в
дубах-колдунах и ведьминских травах,

а то гораздо проще – сорвет кепку с прохожего
и презрительно швырнет в лужу – к опавшим
листьям, так весна переходит в осень, а я
перехожу из пустого мира снов в кипучее
пространство планиды;

утро было утроено – в моих глазах, зеленых
очах откормленной кошки, строгих буркалах
воспитательницы, которая, кажется, не спала
всю ночь и прислушивалась к ритму нашего
дыхания; я всплыла

ближе к поверхности и провела привычные
процедуры, подвела, подкрасила, подрезала, и
опять нырнула во мглу, надеясь ворваться в
привычный утренний кавардак, но
подозрительно тихими

казались комнаты, я тайком подглядывала и
убеждалась – никого нет, все ушли на
торжественную линейку или на представление
в актовый зал, а она проспала, провалялась,
проваландалась и не заслуживает
снисхождения,

решила упитанная дама и потащила ребенка
или почти ребенка на экзекуцию в чулан,
однако добраться было не так-то просто, на
лестничных пролетах суетились рабочие,
подкрашивая и подмалевывая

и столь энергично орудуя локтями, что
попробуй пройди мимо – тебе же и аукнется, а
лифт разобрали (кабина унеслась), и он зиял
чернотой, и так мы с ней – бесцеремонной и
острой на язык (второе дополнение неважно,
ложно) – мгновение

стояли на краю, как бы в раздумье, не сигануть
ли вниз, пока директор не заметил и не
воспрепятствовал, резкий окрик отрезвил

кастеляншу, она отпустила мое плечо, привела
в порядок собственную чопорную блузку и
заспешила по хозяйственным делам – затереть
пятна и затянуть

дверные ручки, чтобы не проворачивались и
не скрипели над ухом, пока валяешься сонный,
обдумывая предстоящий день, что если
именно сегодня явится

санинспектор с бригадой оголтелых
помощников (опять набрал одних детей) и
примется выстукивать стены и выслеживать
пятна, а дикая орава, вместо того, чтобы
выстукивать (или по крайней мере наблюдать
за процессом),

разбежится по комнатам; они опрокинут
стулья и снимут крышку с клавиш пианино,
они разобьют пустую стеклянную вазу, и
какой-нибудь залетевший черт знает куда
осколок обязательно

(через неделю, через десять лет) вопьется в
человека и причинит страдание, тем более
неимоверное, что со стороны выглядит,
наверняка, смехотворно:

степенный, важный директор обнимает обои;
лицо налилось кровью, руки беспомощно
елозят, табуретка шатается; подпиленная
ножка обломится, ты закричишь, повиснешь
на рукаве, похожий на часовую стрелку, и
станешь припоминать события этого
злополучного дня,

прокручивать в памяти различные эпизоды и,
не умея собрать разрозненное в одно целое,
взвоешь: “Кастелянша!” Дама услышит зов и,
уходя, обернется: я по-прежнему зависла над
бездной,

меня завораживают тусклые внутренние
лампочки и черные кабели непонятого
назначения, но шагнуть боязно, остается
баланси́ровать и воспроизводить в уме
выдающиеся и не очень события дня;

соседки по палате предупредили заранее о
запланированном визите высокого гостя, я
должна успеть привести себя в порядок,
выгладить блузку, и прочее, не собираешься
же ты выглядеть растрепкой,

коварно вопрошали они и подмигивали
длинными ресницами, а я не спешила встать с
постели, мне нравилось ощущать, как яркое
весеннее солнце щекочет очи сквозь
сомкнутые веки,

и так я пролежала сорок тысяч лет, а когда
человечество смыла вода, разожмурилась в
толще океана и, конечно, никого не было,
подруги превратились сперва в горстки
выбеленных костей,

потом в прах, развеянный ветром и унесенный
волнами, детский дом обезлюдел, и
привычные предметы обихода свободно
плавают в нем, носимые течениями, и такой
острый интерес к новому

миру вдруг поднялся во мне, что я забиралась
во все комнаты, открывала ящики, всюду
совала нос и, как выяснилось не зря, потому
что директорский кабинет оказался заперт
(ключ лежал в тумбе),

а он-то как раз представлял наиболее
любопытный объект, и прежде чем
использовать ключ по назначению, я
примкнула глазом к замочной скважине, и
картина мне явилась невообразимо дурная:

(читатель заглядывает через скважину
двосточия) директор в лохмотьях был
пришпилен к стене за локоть, как бабочка за
крыло, и, поднятый океаном наверх,
напоминал стрелку, которая указывает на
цифру двенадцать,

я сдержала плач, отшатнулась и угодила в
узкую шахту лифта, где царила кромешная
тьма, торчали железные конструкции и
кружились юркие продолговатые рыбины,
касаясь моих голых, голых, голых ног
колючими плавниками,

отчего ноги начали сильно чесаться, хотелось
потереть обо что-нибудь, но гладкие стенки не
приносили облегчения, и лифт,
бесцеремонный как взгляд кастелянши,
шуршал и дышал, и катил наверх, во мглу
иного рода и качества; я знала,

рано или поздно он остановится, и боялась
увидеть того, о ком свои и чужие
перешептывались с утра; личность сана
небесного по явственным только ей приметам
поймет, что я совершила оплошность, подняла
пылинки и песчинки, расплескала и не
завинтила,

и едва поймет, - обречена неминуемо;
приникаю к черной резиновой щели и смотрю
в ту сторону; все то же, директор пришпилен и
вяло шевелится, неспособный совладать с
элементарной проблемой, ему бы взять
ножницы с края стола (растопыренные, смутно
напоминают часовые стрелки), он тянется,
трясется, но жалкого

миллиметра не хватает, - забавная пародия на
танталовы муки; тогда меня разобрал нелепый

смех, я отступила, створки сзади быстро
сжались, и долгий подол предательски застрял
в лифте, уходящем вверх, еще минута и меня
частично вознесут;

в подобных почестях не нуждаюсь,
пробормотала героиня, и попыталась
вырваться, но я держал крепко и раздумывал:
дать нагоняй сейчас или отложить; в конце
концов нельзя постоянно откладывать на
потом – забудешь, что собирался сделать,
обабишься, обрюзгнешь, с барской ленцой
выйдешь на балкон (канарейки в клетке тебе
хлопают),

и гляди на полумертвый синий город, он
удобно, удачно раскинулся в баснословной
дали, и красное марево на горизонте, и гладкое
движение облаков, и тихий двор внизу,
наблюдай, впитывай зелень и розовость, и не
дергай хвостом, дабы не спугнуть (уже
притихли);

чья это собака, кто пустил собаку,
возмущается начальник; пес наследит на полу,
погрызет мебель, поднимет переполох среди
воспитанниц; срочно удалить бродягу, - звучит
приказ и ты, желая выслужиться перед
хозяином, бросаешься исполнять, да не тут-то
было, что-то не дает отлепиться от стены,
локоть

плотно и прочно держится, а приказ звучит
снова и снова, то прямо над ухом, то ухает с
огромного расстояния, и слова нельзя
разобрать, бесформенной кашицей они
перемещаются в своем невидимом состоянии,
интонации

ужесточаются, приказ требовательный и
властный, ему невозможно сопротивляться, ты
кричишь: “будет исполнено!” и бредешь в
темноте, и стараешься

выполнить неизвестное, настойчиво звучащее
в голове; напуганный, делаешь все подряд:
открываешь ржавые краны, затыкаешь ванны
резиновыми пробками, выбиваешь пух из
подушек, и застилаешь

незастеленное, проникаешь в комнаты девочек
и начинаешь отчитывать первую попавшуюся
за придуманный проступок и постепенно
меняешь тон с гневного на восторженный
(заключить в объятия и в приливе или порыве
нежности поцеловать в лобик),

врываешься на балкон, с телеантенны
вспугиваешь случайных птиц и глядишь вниз:
как величественно просыпается город! черна и
влажна далекая земля после дождя, и
меленькими

точками снуют первые прохожие; куда они
спешат, задаешь логичный вопрос, и ответ
приходит сам собой: на рынок – закупиться и
закопаться в разного сорта вещах; допустим, в
доме беда, кавардак,

заржавели краны и не проворачиваются, или
кончились гвозди, а то пуще – мальчишки
испортили кнопки в лифте, и тот завис
посередине непонятного этажа; мне было
назначено

надзирать, наказывать и следить за порядком;
для того, чтобы исполнить предначертанное,
нужно поймать наглецов, да застряли в кабине
и на слезливые просьбы (суровые требования)

выйти с поднятыми и принять то, что
последует, реагируют неадекватно:

хохочут и невнятно бормочут; вот я сейчас
расширю отверстие, поглубже всуну
указательный и покачаю в знак неодобрения,
впрочем, есть (и мучают) определенные
сомнения – что если укусят, полоснут лезвием

или

посадят на палец ядовитую медузу, и все же –
отставить колебания, перестань быть рохлей и
мямлей, решительно постучи кулаком в
запертую дверь; “сколько можно запирается?
что подумают соседи?” – подобные вопросы в
данном случае нерелевантны, запирается
можно сколько угодно, а соседи не думают,
они лениво плавают,

раскинув плавники; сочини себе легенду,
чтобы ни у кого не возникало вопросов
относительно настоящей цели твоего
посещения, которую ты безусловно
запомнил в кавардаке и гаме, если когда-
нибудь знал вообще;

неприменно возникнут осложнения, люди в
штатском спросят: кто ты? какого сана? что
инспектируешь, неловко шагая во мраке и
жестами слепца щупая пустой воздух?

Я –

санинспектор,

скажет прибывший, чем вызовет большой
ажиотаж вокруг своей персоны; его речь будет
короткой и запомнилась мне надолго, -
спутывая прошлое и грядущее, пишет
директор неряшливым

почерком на клетчатой бумаге, сминает листы,
начинает заново и опять мнет, и когда
получается достойное прошение или жалоба,
он согнул вчетверо, сунул в карман треников и
направил стопы к ванной комнате, где уже
хозяйничал

неизвестно как там оказавшийся мужичок
заурядной наружности, рассматривал
устройство кранов, подкручивал, стучал
ключом и ошеломленно

цокал языком, словно ничего не мог понять –
ни что он делает, ни как здесь очутился, еще
более таинственным было назначение
сложенной вчетверо бумажки в кармане
треников, развернул:

неразборчивые детские каракули, - стоит
расправить уголки, изучить подробнее; за
неимением рядом стола приложил к стене; это
было опрометчиво,

листок моментально набух влагой (мокрые
стены – проблема многих современных
ванн, ваша не стала исключением) и слова
окончательно прекратили читаться,

я заметался, только сейчас осознав, что
натворил: изгваздал краску, испортил
шпаклевку, и дал повод свирепому
санинспектору придрататься к чистоте и лепоте
нашего, в остальном безупречного, детского
дома; (скорей снять

безобразия!) персонаж принялся сдирать и
отскабливать, но бумажка прочно прилипла и
ни в какую не желала счищаться; кропотливые
старания не дали результата, и отдельные
кочки,

а то и целые уголки оставались на месте; я в
отчаянии бешено и беспорядочно задвигал
плотно прижатыми к стене руками, и видимо,
напоролся

локтем на гвоздь,

потому что ощутил внезапную боль и более не
мог шевелить правой, в то время как левая еще
пыталась справиться с бумажкой, елозила и
шуршала; затихла, и в наступившей тишине –
слабое пение, судя по всему, с балкона

– кто бы мог забраться? - возмутился я и
направил стопы в это пространство, служащее
исключительно для хранения ненужных вещей
(треснутых лыж, сломанных клеток),

медленно,

как старый кот, директор выглянул в окно и
никого не увидел, и ничего подозрительного
не разобрал, однако для пущей верности
посети, проинспектируй; дверь открыться не
взалакала, ручка провернулась и скрипнула, я
опять подергала –

дрогнуло и грохнуло железо, боль усилилась;
не поддавайся на провокации, господин
хороший, – соседские мальчики банально
балуются,

а ты

навыдумывал невероятных страхов,
инспекция, проверка, черта с два ему нужен
пансион, чужак удовлетворится тем, что во
дворе прибрано,

походит кругами по площадке, заглянет в
песочницу, попробует “гигантские шаги” и
напишет резолюцию, прошение о

помиловании, свидетельство о регистрации,
красный диплом,

кстати, о красном,

помнит ли старшая, где ключ? – он, соврала я
(назло ненавистной кастелянше), в надежном
месте, тайном схроне, в ящике старинного
комода, среди позапрошлогоднего белья, в
растрепанной книге с ломкими

кленовыми листьями между страниц, ежели не
утащили мыши, добавляет мать и хмурится, –
предстоит перерыть кучу беспорядочно
втиснутой одежды,

делать этого не хочется, на балконе грязно и
сыро после недавнего ливня, пахнет
водорослями,

сечение

и тусклый свет сквозь густые облака освещает
лицо юного Декарта, он вальяжно облокотился
на стену и смотрит в окна противоположного
дома, там, вероятно, происходит

генеральная уборка, подготовка апартаментов
к визиту высокого гостя или строгой
инспекции, а то,

взывает автор к нашей смекалке, скоблят и
моют ради чистоты самой по себе, ибо
прекрасна она в ничем не замутненном виде;
скажи, Декарт,

тебе не хотелось бы шагом перемахнуть
расстояние до соседнего балкона и принять

посильное участие в уборке; и он
снисходительно отвечает: ни капли,

народ орудует расторопный, без меня
управятся; да как же они без тебя, разуй
буркала, дорогой мыслитель, и узри: барахла
настолько много, что управятся еще не скоро,
к тому времени,

когда, возможно, санинспектор

войдет и примется пальцем брезгливо трогать
неотодранные бумажки на дверных косяках и
каблуком скрести ржавые пятна на полу, а из
карманов уже торчат уголки резолюций и
конstellаций

– беспощадные тексты составлены загодя,
достаточно подписать и вручить кому нужно;
ты не тушуйся, малыш, не менжуйся, не
пускай на самотек, аккуратно раздвинь катеты
ног

и

соверши простейшую геометрическую
операцию; халат и белые перчатки
прилагаются; требую: кратчайшим путем
разместить треугольник между домами, на
выполнение дается веселый месяц март с
висельниками во дворах и витиеватыми
ручьями куда ни плюнь, и земля

промозглая,

стылая, неподатливая, допустим, бьешь
лопаткой, а она сопротивляется, - на все это
Декарт ответит положительно, примет доводы
и аргументы (что, в общем, одно и то же) и
примется

скликать клику, то бишь невоспитанных
воспитанниц, и едва девицы выстроятся,
понукаемые кастеляншей, он встанет перед
дверями лифта, приготовится к выходу и
произнесет зажигательную речь о том, о сем, о
подвигах, о славе, о том,

что краны проворачиваются и скрипят, а
спекулянты неустанно спекулируют, о том,
что подол застрял, и вот я дергаю, дергаю - ни
в какую, она только пуще прежнего кричит:
оставьте в покое, управлюсь лично, - и
продолжает

расслабленно бродить во мраке; девчонки,
выстроенные по росту, слушают напутствие
директора; мужчина разошелся; жестикулируя,
он даже соскочил с трибуны и машет руками,
будто зовет кого-то издалека или, напротив,
предупреждает о грозящей опасности, но
то, что он говорит,

свидетельствует о неумном желании
просвещать: просвистели канарейки до смерти
и не заметили, какое сложное, затейливое
плетение прутьев у клетки, оно

геометрически выверено, можно ручаться и
зуб давать, что квадраты без зазоров
накладываются один на другой, совпадают
идеально, превосходно, внутри каждого окна –
незримые деления на треугольники, ромбы,
трапеции; давайте

мысленно проведем треугольник; наши ноги в
состоянии раздвинутом вполне способны
образовать данную фигуру, отвлеченно
размышляет Декарт и пялится на соседний
балкон, где группа школьниц, застыла,
изображая

геометрические формы; морские фигуры
замерли, с удовлетворением отмечает он и
подталкивает старшего: наблюдай
внимательно, не шелохнется ли бровка, не
дрогнет ли носогубная складка, и когда
шелохнется и дрогнет, ничтоже
сумняшеся указывай – и поменяетесь; значит
ли это, что она должна попасть к нам?
Совершенно верно, отвечает, а ты – к ним;
однако, мама, сложно разглядеть складку и
бровку, не пользуясь биноклем; сложи пальцы
колечком, - монокль; послушаться
старшего нельзя ни в коем разе, влепит розог,
лишит сладкого, заставит пить касторку; и
через крохотное отверстие (старался и пыхтел,
сгибая) уставился: непросто понять – перед
ним (видны мельчайшие
детали) скульптуры или живые фигуры в игре,
– поры кожи или следы времени на камне,
естественные волоски или мох, облепивший
валун; даже если
она и шевелится, то я всматриваюсь так
пристально, что не замечаю движений,
иногда размерных моему ракурсу, возможно,
девочка давно танцует и хохочет над
недотепой, а товарки
поют чистыми или нечистыми голосами, но
угол зрения изменить не выходит – всюду
поры, волоски, и слева, и справа, и внизу, и
вверху, а еще пристальней – роение молекул,
низкий гул, слоистая тьма;
возьми коня, Декарт,
скачи по дикому полю, со свистом и воплем
веди биологический механизм к высокой

башне, где томится пленница, оставь
строптивное животное веселым слугам, и по
бесконечной,

фигурально выражаясь, винтовой лестнице –
ввысь;

фигуры

мальчиков застыли, будто высеченные из
камня или слепленные из морской глины,
только глаза горят живым огнем: любопытно,
ты принес

горсть снега или ветер лесной, осенний дым
или весенний вальс, приволок ободранную
тушу или желтую птицу; делаешь

загадочный вид, соблазнительно копаешь в
кармане, а сам внимательно следишь за
бровкой и складкой, и чем дольше копаешь,
тем все очевиднее становится, что они
абсолютно неподвижны, и ничем не
спровоцировать тайный сдвиг, незаконное
смещение, -

а причина элементарна: перед тобой манекен,
обряженный в женские тряпки и
напомаженный; и некто живой и глумливый,
кому назначено, наблюдает, из подпола,
подспудно,

как на блюде балюстрада ты всматриваешься
в предмет, ошибочно принятый за человека,
отмечает реакции; ухо держи остро, не
допускай, чтобы руководитель заметил
странности в твоём выступлении – конечно,
имеются оправдания

и весьма весомые (горло перегрызла акула,
медведь вырвал язык, подхватила досадную
инфлюэнцу от подозрительной цыганки на

рынке) – но ему твои слова – пыль и пепел,
лепет и плевое дело, ты поступила верно,
когда заняла привычную позицию среди
девочек (средняя по росту), затем

принялась открывать и закрывать рот,
изображая, что поешь; болезное дите в самом
начале допустило оплошность, чересчур
ретиво взявшись за имитацию: еще не
зазвенели голоса товарок, не

заиграл патефон, выступающие волновались и
готовились, а ты уже открывала и закрывала, и
на гневный окрик: “Ловишь мух?” не нашла
ответ, по лицу разлились багровые пятна (не
путать с трупными) – так называемая

краска стыда – и некуда было девать руки, они
щупальцами поползли по плечам, персты
сжались вокруг хрупких шей соседок, и тогда
девочки запели, настолько тонко, насколько

позволяли горла, и патефон затянул
патетическое; перестань фальшиво зевать и
влейся в согласованный хор; старайся шире
открывать и попадать в такт; директор оценит,
потреплет по щечке;

скажет: репетиция удалась на славу, премирую
певиц внеочередным походом на кухню,
румяными ватрушками и сладкими плюшками,
не забудьте отмыть руки от крови, и если
краны проворачиваются, немедленно примите
меры для устранения неполадок;

или скажет: давайте споем другую,
интереснее, в лесу родилась елочка, в лесу она
росла, зимой и летом стройная, соленая была;
однако хор воспротивится радикальному
толкованию текста знакомой песни и
предложит повторить заученное,

то, что должно, по мысли великого
хормейстера, поразить санинспектора при
условии аккуратного и гармоничного
исполнения, а именно незатейливую песенку о
чистоте полов и помыслов, которую ты не
любила, ибо считала, что полы недостаточно
чисты в размерностях

детского дома, а помыслы и вовсе
неописуемы, что официальному гостю
достаточно трезвого взгляда на содеянное
домоправителями (отвалился кран, в комнатах
белый пух),

дабы оценить и обвинить, и моментально
разразиться резолюциями и жалобами,
впрочем, расчет на опьянение бравурной
песней вполне мог оправдаться;

в таком расположении духа (в полном
затмении ума и сердца) санинспектор сочтет
состояние объекта безукоризненным, нас –
счастливейшими, персонал – душками,
подарит мне

скользкую раковину, хранящую запах и гул
моря, и нырнет в узкую щель между стеной и
диваном; туда не доносятся наши слабые
голоса, – очевидно же, что слабые, хотя
соседки напрягаются изо всех сил, дабы
удивить

хормейстера, и лишь я, смешное и несурзное
звено, открываю вхолостую, сберегаю связки
для крика, для хриплого шепота, для сонного
бормотания и горького плача от того, что
напоролась

на гвоздь и нельзя пошевелиться, не сбив
девочек с такта; стараются, тянут бесплотные
звуки, и душа моя, господа, расцветает, еще

немного и пушусь в летку-енку, да не хочу
сбивать и запутывать

молодую поросль, она растет и стремится к
свету, а я направлен в темный угол,
записывать краны и регистрировать пятна;
например, на средней – багровые, что,
естественно,

не мешает ей сочно и выразительно петь,
остальные, кажется, отлынивают, впустую
открывая яркие рты; не считая этого
незначительного действия, девочки
неподвижны;

Декарт недоумевает, как им удастся не
шевелить складкой и бровкой в течение
вечности, и делает вывод, что в мельтешащих
ртах сублимирована *кипучесть телесных
поползновений*;

в конечном итоге,

фигура совершила достаточно действия, укажи
на нее и поменяйтесь местами; Декарт не
спешит прислушиваться к словам ведущего,
он пристально смотрит на рот:

то открыт,

то закрыт,

то открыт,

то закрыт,

невозможно

точно определить момент, когда
распахнутость замрет на полпути к
замкнутости; не движение как таковое он
видит, но – две крайних статичных позиции; и

теперь бедному мальчугану, попавшему
впросак, требуется

всесторонне изучить загадочный феномен;
(плох тот исследователь, какой не ставит
опыты на себе, не глотает сомнительные
препараты, не ложится на операционный стол,
на коем недавно

умерла замученная кошка), и вот наш
французик расхрабрился и запел, пытаюсь
попадать в такт и следя за мгновениями
собственного открывания

/закрывания;

девочки уменьшаются,

будто его волнами относит вдаль; чтобы еще
дальше не отнесло, быстрее работает ртом;
способ превосходен – дети снова вырастают из
мрака, пение усиливается; коварная вода
подталкивает его к бледному лицу одной из
хористок,

условно шевелящиеся рты оказываются друг
напротив друга, и тогда я заметила странную,
если не сказать подозрительно-странную,
вещь, у него

захлопнут,

когда у меня открыт, и наоборот, у меня

открыт,

когда у него

захлопнут

и этот разнобой, комическое несовпадение,
чем-то inferнально-ненормальным напугали
девочку, она задергала ногами, чтобы
выбраться

из перепутаницы водорослей, но глубже
увязла, вдобавок

мелкому крабу вздумалось покусывать за
пятку, стало неудобно и неприятно, она решила
прекратить петь, и таким образом раз и
навсегда покончить с бардаком, -

захлопнула и уставилась на наглуую рожу
напротив: произошли внезапные изменения –
рот открылся наотмашь и уже не закрывался,
торчал перед глазами как черная дыра, провал
в никуда; в недрах мрака

жил влажный язык и вроде бы – воспитанница
не была уверена – приглушенное пение
доносилось (такое тихое, будто
приглашенное),

скорее всего Марта вообразила его, а не
услышала; я сейчас проделаю занимательный
опыт, подумала хористка (ибо кто мы,
народные певицы, мы в действительности
хирурги-экспериментаторы,

и лицезрим с балкона широкую плоть больной
страны) и распахнула, и,

распахнув,

отпрянула, вернее, попыталась, однако плечи
товарок держали сильнее иного прессы, - рот
визави закрылся, и отчетливо различались
морщины возле скорбно

поджатых губ, еле заметный пушок,
старческая багровая пигментация, а пение тем
не менее продолжалось; девочка поняла:
теперь поет она, сильно, вольно и красиво; в
лесу, она пела, родилась елочка, но точный
адрес леса не назывался и оставалось
догадываться,

в каком конкретно лесу ты родилась – в том,
что за городской чертой начерчен словно
детскими штрихами углем по синему небу или
в том, что скромно начинается за ржавыми
гаражами и бурно продолжается в сизом логу,

куда местные старушки выливают помои,
поднимается на пригорок, похожий на рыхлую
спину горбуна, и устремляется к горизонту, в
его бесконечный мираж, и вот, бывало,
встанешь на зорьке,

и красноватые лучи через ветви делают щеки
пунцовыми, пятнистыми, и неимоверно
хочется зевнуть, и за тобой, точно глядишь с
балкона на просыпающийся город, лесные
изломы и залысины; и распахнешь, и
распахнув, запрокинешься для удобства, и не
сможешь удержаться, притянутый
гравитацией,

рухнешь в мутную воду и сразу пойдешь ко
дну, открывая и закрывая рот, о
прославленный оперный певец, призванный
привнести гармонию искусства в
непросвещенные

массы океана, и ни звука не расслышат
маленькие соглядатаи за хлипким забором –
лишь серебристые пузыри вырвутся и,
достигнув светлой плоскости, лопнут, и гладь,
уже спокойная и неподвижная,

произведет неясное

быстрое движение, и мальчики,
расхохотавшись в голос, укажут и закричат:
“она!” И она, беспрекословно повинуюсь
властным условностям

игровой ситуации, шагнет вперед; в то же
самое время и мы шагнем занять ее место;
произойдет следующее, - отметьте,
пожалуйста, особым цветом эту часть,
красным

или синим – не имеет значения, но фрагмент
должен отчетливо выделяться на фоне прочих,
- я шагну, и воспитанница шагнет с балкона, и
на полпути до наших назначений,

мы столкнемся, ибо не рассчитали точную
траекторию этого вкрадчивого движения, а кто
шагает, предварительно не обмозговав, не
обрисовав

маршрут, кто делает шаги бездумно, тот
моментально теряет равновесие и более не
нужен матушке-природе, на том
отыгрываются хмурые гопники, того

кусают мелкие зеленые мухи, и гордые коты
уходят от него прочь по лесным тропинкам;
остается разводить руками (и чем сильнее
разводишь, тем дальше уносится горе), пить
крепкий кофе и вспоминать

былое: что было в былом

у тебя такого незаурядного, волнуются
господа офицеры, о чем ты готов вспоминать
ежеминутно, вот и сейчас ты угрюмо
облокотился

о лакированную столешницу, и затуманенный
взгляд, и носогубная складка, и согнутая
бровка – все выдает

особого рода задумчивость, какая бывает
только у добреньких бабушек и капитанов
дальнего плавания, у сытых крыс и набитых
трухой чучел в цветущем огороде,

поставленных отгонять назойливых птиц,
которые нет-нет

да и пикируют на клубнику; допустим, две
фигуры в однородном пространстве
установлены перпендикулярно друг другу,
тогда что произойдет, если придать им
одинаковые скорости и направить

вперед по прямой, случится может все, вплоть
до приступа эпилепсии у больного ребенка в
датской глухомани, или, например,

некто выходит раненую канарейку и выпустит
с балкона, и если вообразить, что на балконе
противоположного дома тоже некто выпустит
желтую и раненую, то птицы с

математической неизбежностью не
встретятся, разлетятся в серой мгле, зато наши
фигуры сойдутся непременно; результат
сближения зависит от скорости, мы придали
объектам равномерное ускорение,

значит столкновение случится посередине
пути, над пустой бездной мокрого двора, и, не
то увлеченные (как бывают увлечены кусками
свежего мяса лохматые псы), а то

увлекаемые грандиозной силой тяжести,
фигуры направятся вниз с категоричностью,
достойной лучшего применения; появляется
большой

простор для различного рода домыслов,
догадок, предсказаний и суеверий; упадут – к
дождю, бубнит старушка,

зависнут или застрянут в пространственных
завихрениях, - будет солнце; а я терпеть не
могу гадалок,

я

абсолютно рационален и знаю достоверно,
что ничего хорошего не произойдет, и
телевизор потух, и санинспектор скребется,
как пес, у дверей, и репетиция сорвалась по
причине отсутствия одной безответственной
девочки,

пришлось печально разойтись по комнатам, я
заялся рисованием, потому что люблю и
умею, они – запели “в лесу родилась елочка”;
в тот момент, когда я поднес карандаш к
бумаге, эта фраза зазвучала громче и
навязчивей, моя рука

дернулась и вывела куцую елочку на пригорке,
рядом с десятком иных товарок, и ниже (так
буйные шестиклассники бегут в столовую)
криво и косо потянулись леса до горизонта, а
под первым деревом уже лежал знакомый нам
Декарт и сосал травинку;

все шумит и куда-то несется, размышлял он, и
облака надвинулись, и ветер ошалел –
поставить бы ему прививку от бешенства,
лишить прав и закрыть на замок, добавлял
философ милые нам анахронизмы;

есть предложение укрыться в доме, во дворе
стемнело, неуютно, и свист такой, что
закладывает уши; но как осмыслить
замкнутость дверей,

как понять и принять пустоту в карманах, где
раньше лежал ключ или гвоздь, а ныне кукиш;
однако в таком состоянии определенно
имеются и положительные

стороны: напевай любую ерунду, и никому не
будет слышно, или можно пройтись,

изображая слепца, все равно двор погружен во
мрак,

и вот так валко идешь, щупаешь нечто
неуловимое, путешествие продолжается черт
знает сколько минут, не то часов, в
неожиданном лесу наткнешься локтем на
ветку

и замрешь, толком не осознав того, что
произошло; что понимаешь ты, наткнувшийся
сослепу? Куда попал, заплутав, куда забрел,
куда забурился? Еще недавно пищали дети на
площадке, суетился

черный пес возле хозяина, бледная
пенсионерка поправляла платок и следила за
бетонным козырьком подъезда, а девочки
репетировали, открывая и закрывая, и ты
безрадостно

бродил по пустым комнатам, открывал и
закрывал двери в надежде, что действия твои и
воспитанниц твоих тайно совпадут, сойдутся,
и не нужно будет подкручивать краны, стелить
постели, все разрешится иначе, в другой
перспективе, свободной и простой, и когда
появится он, а он непременно появится,
вырезав
ключом
проход...”

здесь остановите и увеличьте фрагмент, левее,
ниже, крупнее; что нам известно о синтагме
“вырезав”? резать, прорези, резьба, резь,
резкость, и прочие производные восходят к
древнерусскому корню “рез”, который издавна
считался краеугольным камнем в фундаменте
нашего языка; согласно теории профессора

Яковлева, в каждом слове имеется небольшая прорезь или несколько прорезей, чья общая усредненная форма восходит к магическому корню “рез”, визуально его напоминает; доцент Зорин, печально известный (см. дело о помоях) и излюбленный ученик профессора предложил инверсированную трактовку темы, в фундаментальном и скандальном труде “Резать и бить”, написанном в начале 90-х, но по политическим причинам опубликованном в 2019 году, он поразил научную общественность тем, что логически обосновал казалось бы бредовую идею о разрезах как очертаниях самих букв; дескать, “рез” не просто центральный корень, но и древнее указание на то, что слова есть разрезы, и мы, по нелепой привычке, ставшей фатальным автоматизмом, считываем исключительно содержательный пласт, а не менее важный уровень, формальный, пропускаем, а ведь именно там кроется истинное назначение языка – резать, корябать поверхность, протыкать, лупить; профессора не вполне удовлетворило такое безыскусное, отчасти безвкусное, объяснение, и поздним зимним вечером он вызвал к себе на дачу ученика; старик отлеживался после тяжелой сердечной болезни, и курил трубку, и пускал колечки; брезгливый, высокомерный доцент долго стоял в изголовье постели, наконец, болезненный профессор разлепил морщинистые веки, впери в него мрачный пронзительный взгляд, и задал элементарный вроде бы вопрос, ответ на который дать не смог бы, пожалуй, никто, кроме, конечно, Зорина; он спросил о том, что если резать, корябать, протыкать и лупить – истинное

предназначение языка, то какова природа поверхности, на коей происходят все эти манипуляции, и почему тогда язык наглухо замкнут на отношениях денотата с сигнификатом; биографы допускают, что именно тогда в голове Зорина что-то щелкнуло, произошел нехороший сдвиг (тщеславие ли повлияло, отчаяние ли, не важно), ученик расхохотался и его понесло; отнюдь не замкнут, разлюбезный доктор, зашаркал он ножкой, отнюдь, природа языка, как мы знаем, лишена самостоятельного смысла, но является руководством к действию; переходите к действию, заревел профессор; и некогда излюбленный, а ныне опальный ученик вытащил из кармана, как заправский фокусник на детском утреннике, небольшой столовый нож с костяной рукоятью (существуют непопулярное мнение, что нож был не столовый, а банальная рыбка-раскладушка); денотат – поверхность для сигнификата, на это недвусмысленно указывают буквы, и поверхность не абстрактная, а самая что ни на есть материальная, вот я сейчас продемонстрирую небывалое, невозможное... махая ножом, он отходил к стене; профессор не выдержал, заорал кухарку, но тишайшая женщина побоялась являться на гневный зов, тем более она слышала странные речи и видела в замочную скважину, как чудной гость залихватски машет лезвием; ее беспардонное неприбытие, ее молчаливый отказ стали, по мнению многих, началом новой эпохи, не лучше и не хуже других, но все же качественно иной; впоследствии никто даму не осудил, нашлись и ярые сторонники

невмешательства среди элитной профессуры; но что же произошло за запертыми створками?

– мы можем реконструировать цепочку событий, опираясь на занимательную книгу Снегиревых, которые, в то время будучи детьми, из озорства залезли на балкон дачи Яковлева и наблюдали за происходящим в комнатах; безусловно, совершенного доверия данному источнику нет, детская память столь же капризна, как воображение хмельного хормейстера, однако за неимением иных документальных материалов, мы вынуждены довольствоваться этим; братья пишут:

“возбужденный и разгоряченный Зорин приблизился к обоям, воткнул кончик ножа в нарисованную розу и вывел букву “Я”” – справедливости ради заметим: касательно буквы есть сомнения и разночтения, одни настаивают на том, что это была Ё, другие – Ю, тем не менее все сходятся на истинности того, что последовало: “из прорезей, оставленных ножом на ни в чем не повинных обоях, закапала кровь”. Позвольте, спросит юный читатель прошлого – откуда кровь? Там, что, труп в стене замурован? Какой такой труп?! - скажем ему прямо и грубо, - вали в свою допотопную эру, нечего по нашей шастать! – и тут же воскликнем с лукавой улыбкой, - да мы пошутили, оставайся, исследуй; проблематика крови поначалу была загадочной и для нас, особенно в связи с дальнейшим распространением сей темы в книге, ибо (правы мудрые японцы: мальчик Сей ведет за собой девочку Ибо) на одной букве, как вы понимаете, взволнованный доцент не остановился, продолжал резать бедные обои, выводя чепуху,

менетекелфаресовщину, и после каждого
взмаха и опускания из прорезей текла кровь,
возможно он написал “ЦОЙ ЖИВ”, вероятнее
– “М + Л = Л”, братья попросту запомнили,
зато избирательно цепкая молодая память
сохранила дальнейшее: от коверкания обоев
ученый хулиган перешел к уродованию
скатерти, цветочного горшка с поникшей
гортензией, ворсистого коврика, он даже
полоснул по горлу узкую хрустальную вазу, и
отовсюду текла густая, темно-бордовая
жидкость, насыщенная белками и анионами,
иначе говоря, кровь; в роскошно изданном
фолианте братьев имеется замечательная
иллюстрация этого момента: бешеным вихрем
по спальне носится Зорин (художник передал
скорость при помощи волнистых линий,
сопровождающих руки и ноги доцента), все
вокруг кровоточит, безнадежно
исполосованное, а бедный профессор
спрятался под одеяло, лишь поблескивают
беспокойные глаза; диковинная теория
чудовищным образом подтвердилась на
практике; впрочем, нельзя утверждать
наверняка, что Зорин заранее знал о
последствиях разрезов, существуют немалые
резоны предполагать, что он до конца
сдерживался, не решался приступить к
испытаниям, но насмешливый скептицизм
профессора сподвиг упрямого молодого
человека на демонстрацию того, что в прямом
смысле вытекало из обскуренной теории; в
автобиографии ближайший приятель доцента,
доктор И.А. Булдаков, поделился с читателями
ценнейшим наблюдением над последними
днями жизни Зорина (как раз совпавшими с
описываемым событием – пожалуйста,

перестройте сами этот бурелом оборотов): “Ни с того ни с сего мог возопить: “молоко иль вода?! А потом напряженно забормотать: Черный чай, кофе... белый пух, сладкая вата... песок, да-да, песок.” На расспросы отмалчивался, казался полностью ушедшим в себя. Таким моего дражайшего друга я не видел еще никогда. Хорошо помню финал и смерть. Он вбежал в прихожую, обнял меня и скороговоркой заговорил: подтвердилось абсолютно все, и загадочная связь денотата с сигнификатом, и истечение жидкости из разрезов, одного я не смог предугадать, хотя ответ лежал на поверхности, вернее, под ней, - не чай и не молоко льется после того, как вспорешь предмет, а кровь! Кровь! Он истерично захохотал, вынул гигантский тесак (полагаем, автор преувеличивает). Обычная кровь, как у тебя и у меня. Гляди! Зорин воткнул лезвие в столешницу, и фонтан алой влаги оросил комнату. Понимаешь, я гений, гений! – завопил он, - это обыкновенная кровь, смотри! - он полоснул себе по ладони, затем, не в силах остановиться, будто буйнопомешанный, - по горлу. После чего упал, захрипел и умер, распластавшись в собственной красной жидкости, сволочь”; Как бы там ни было, мировая общественность оставила вопрос гибели ученого открытым – суицид это был, или Булдаков умышленно утаил от народа и правосудия важные подробности, всех отныне занимало другое – удивительная способность любых порезов кровоточить; проблема потеряла чисто лингвистический, так сказать бескровный, характер и сделалась достоянием широкой общественности наряду с вопросами внешней

политики, пенсионной реформой и перипетиями мыльных сериалов; организм страны стал донельзя исполосован; дети раскупали ножички и развлекались тем, что кромсали все подряд: стены, деревья, асфальт и камни; нервные взрослые тоже возымели страстишку рубить с плеча, и комнаты соседей с нижнего этажа подчас неприглядно заливало кровью; катавасия продолжалась ровно неделю, однако вонь поднялась как в мертвецкой, и неизвестно откуда целыми стаями слетались грифы; правительство пришло в себя и издало срочный закон, строго запрещающий колоть и резать что бы то ни было, кроме специально предназначенных для этого вещей; образовались комитеты для исследований свойств материи, незнакомых учебникам физики; начали изучать кровь, проводить исторические штудии, экспериментировать с водой, воздухом и прочими нестандартными поверхностями; тут и там создавались фонды борьбы с так называемым правительственным заговором, и первым, кто основал подобную мерзкую организацию, был Никита Портнов, 56-летний слесарь, до инцидента незаметный и скромный, работал на заводе шарикоподшипников, похоронил жену и нянчил внуков от двух дочерей; по загадочной прихоти судьбы именно он раньше всех задался специфической дилеммой; встал этот подозрительный тип утром на балконе, закурил папиросу, поиграл кустистыми бровями и пораскинул мозгами: почему раньше никто не замечал? ведь резали и ничего не выливалось; впрочем, точных примеров мужчина привести не мог, как ни

силился вспомнить, ни что резали, ни кто, ни когда – память словно заклинило каким-то сломанным шарикоподшипником; смутная тревога не отпускала его до вечера, вскоре он появился в редакцию местной газетенки и на отложенные на черный день рубли выпустил объявление о наборе единомышленников в наобум сочиненную организацию “Кровь и Правда”, устав которой гласил: “А спросим-ка, братцы, правительство наше – почему раньше никто не замечал крови из предметных порезов? Или это как-то скрывалось?” Страждущих услышать ответ набралось полсотни; народная делегация, расхрабрившись, пошла штурмовать райсовет; мужики топали, кричали, буянили; там их (и совершенно правильно!) повязали; зачинщик получил двадцать пять лет строгого режима, остальные до пятнадцати; столь жестокие меры должны были служить устрашением для будущих бунтарей, и действительно на короткое время охладили пыл любопытствующих, и покамест народ приходил в себя, набирался решимости, власти обратились к лучшим представителям интеллигенции, чтобы те авторитетно пояснили: текла кровь из порезов прежде или не текла; несмотря на вроде бы элементарный вопрос, лучшие умы страны не сумели дать четкий и однозначный ответ, среди них сразу же возникли метания и шатания, кто-то кричал: “текла!” и ему десяток академиков ответствовали: “не текла!” А им в свою очередь возражали из еврейской общины: “И текла и не текла”; ситуация образовалась, прямо скажем, плачевная, никто не желал уступить, каждый представитель той или иной

точки зрения носился со своей теорией, доказательства которой представлялись ему неопровержимыми; наша справедливая и прозорливая власть поняла, что идея зашла в тупик, президент вызвал густобородых ректоров и поставил строгий ультиматум: в течение двух дней разберитесь, договоритесь, найдите приемлемое решение – или пеняйте на себя; всякому известно, что правительство на ветер слова не бросает; перепуганные люди в мантиях тотчас собрали совет, попытались переубедить упрямцев и привести разногласия к единому мнению; несмотря на небывалую настойчивость, угрозы и улещивания, усилия остались втуне; ученые не видели друг в друге авторитетов, они только пуще ссорились и вопили, произошла бы небывалая потасовка с мордобитием, и тут с замечательным предложением выступил доктор исторических наук Валентин Валентинович Власов; брошюра, где впоследствии была опубликована его речь, стала библиографической редкостью; сперва он обрушился на тех, кто говорил: “текла!” потом, не оставив от доводов оппонентов ровным счетом ничего, напал на их идейных противников, и тоже в пух и прах разгромил систему аргументации оных; досталось и еврейчикам, противно попискивавшим во время выступления; “Вы все круглые идиоты! – вдохновенно завершал он монолог, - позор науки! Позеры и бесплодные фантазеры! Наплодили (sic!) убогих идеек, а ведь дальше собственных носов не видите! Хорошо, у вас есть я, иначе ваши натруженные задницы уже завтра этапировали бы на Колыму – валить лес! (инструкция “Как правильно валить лес

ягодицами”, уввы, осталась ненаписанной оратором). Я нашел выход, единственно верный в нынешней ситуации. Раз мы ненавидим друг друга, за людей не считаем, нам нужен непреложный авторитет, решение которого будет принято всеми без исключения; “и кто же он? – раздались насмешливые голоса, - мы сами себе авторитеты!”; “А я знаю такого, знаю! – побагровел Власов, - его зовут Сергей Анатольевич Крутиков”. И сразу в зале установилась полная тишина, мало-помалу разбавляемая быстрыми перешептываниями: “Крутиков, ну конечно!” “А ведь точно, Крутиков!” “И как мы про него забыли?!” – развел руками старейший профессор; Крутиков этот с детства был ничем не примечательным типом, гонял голубей, вешал кошек, задирал девчонок, любил группу “Кино” и каждое лето с компанией дворовых ребят сбегал на речушку поплавать; в общем не выделялся никак; учился посредственно и гуманитарным наукам предпочитал технические; а в старших классах неожиданно проявил уникальный талант; открыл его способности учитель труда, когда дал школьникам задание починить водопроводный кран; Сергей справился в считанные минуты, трудовик удивился на редкость удачному результату, дал еще кран, и мальчик моментально починил его, будто всю жизнь только этим и занимался; восхищенный преподаватель объявил Крутикова своим помощником и до конца курса обучил многому в нелегком деле починки сантехники; но путь от простого слесаря до грозного санинспектора только начинался; получив

долгожданный диплом ПТУ, паренек устроился в ЖЭК и там проявил себя ответственным и способным молодым специалистом, довольные бабушки и дедушки ежедневно приходили в контору и расхваливали работу Сергея Анатольевича – “не течет”, говорили они, “не скрипит!” “Золотые руки у парня!”; слесарь стал востребованным и больше не мог тянуть лямку в незначительной конторе; он задумывался, искал объявления, прикидывал, и все-таки не решался уйти с насиженного места; слух о мастере расползлся по городу, и однажды к нему обратился представитель районной власти с хитрой просьбой посмотреть краны в управе, а там уже признался, что давно подыскивает смышленного парнишку для несложной работы по хозяйству. “Мыть полы?” понурился Сергей, и собеседник его обнадежил, совсем не полы, напротив, работа не мокрая, хотя очень ответственная – составлять жалобы, прошения, писать резолюции, а главное проверять выполнение санитарных норм в различных заведениях города и области. “А краны можно будет чинить?” уточнил слесарь. “Обязательно. Кранами в основном и будете заниматься”. Так для Крутикова наступила новая, серьезная и счастливая жизнь. Утром пели пташки и лаяли дворняжки, пробивалась первая влажная травка, и граждане, взъерошенные, с одутловатыми сонными лицами торопились по своим делам, а Сергей неспешно попивал кофе и с улыбкой смотрел во двор - рабочие строили площадку, корпели над песочницей и пели; к полудню он отправлялся на службу – ехал на маршрутке, миновав извилистые

торговые ряды, выходил к огромному зданию, взлетал на лифте под самую крышу, в тесный кабинет, заваленный бумагами, и принимался сочинять жалобы и подписывать резолюции; впрочем, писчебумажные занятия составляли малую часть работы, вскоре начальник посылал на объект, и там-то уж Крутиков показывал себя в полной мере, не было ни одного муниципального заведения, куда бы он не явился со строгим осмотром, и если видел белый пух, грязные следы на полу или потеки ржавчины на кранах, приходил в “радостное остервенение” и строчил вдохновенные жалобы, не забыв сперва починить и подтереть; особенно интересовался детскими домами, ибо там чаще всего царила ужасная антисанитария; получив очередное повышение, Сергей Анатольевич стал сам себе выписывать приказы; новоиспеченный враг нечистоты решил, что напрочь искоренит проблемы в домах для бездомных детишек, и настолько ярко проявил себя на этом поприще, что вскоре интернаты засияли и заблестали; к его приездам готовились загодя, хотя он любил сюрпризы и иногда приезжал без предупреждения; не слушая никаких оправданий, бежал к санузам и там вертел, скрипел и довольно хохотал, покамест дрожащий и бледный от страха директор неубедительно обвинял в беспорядке кастеляншу; показывался инспектор и в институтах; интеллигенция сперва приняла в штыки его служебное рвение; “ну и что, загажено, - говорили они, - нам так нравится. Не лезь и не трогай”; Крутиков возмущался, отправлял многочисленные жалобы куда надо, читал вдохновенные лекции об антисанитарии,

призывая преподавательский состав присутствовать в обязательном порядке; неистовыми усилиями санинспектора был лишен лицензии политехнический институт; здание, неимоверно загаженное, снесли, и на расчищенной площадке тут же возникли цепочки торговых рядов; ректоры города и области провели тайное совещание, где постановили не чинить молодому специалисту никаких препятствий, напротив, оказывать всяческое содействие, и отныне содержать образовательные учреждения в идеальной чистоте; прошли чистки: тонны мусора каждый день выгружали из университетов; грязь, пух, тряпочки, палочки, мертвых клопов, все, что скопилось за десятилетия бурной деятельности, вываливали на свалку и затем сжигали; и оказалось – так даже лучше; “А ведь прав был Крутиков! - воскликнул в местной прессе Б.Б. Аполлонов, представитель юридической академии, - в кромешной грязи мы ползали в храмах знаний, забыв о том, что человека облагораживает не только развитый ум, но и окружающая среда”; в университеты словно плеснули живой водой; пожилые профессора посветлели, а студенты и вовсе расцвели; спасенные от нечистот интеллектуалы Трупнойдска ежедневно восхваляли Крутикова, а он, считая, что ничего особенного не сделал – просто выполнял свою работу – категорически отвергал похвалы и награды, предпочитал шумным застольям и пышным церемониям уединенное бытие скромного чиновника; выдающийся пример благородного аскетизма поразил горожан; вскоре Сергей Анатольевич превратился в живую легенду; к нему стали

обращаться за советом, за экстренной помощью или, так, приходили подивиться на спасителя; санинспектор никому не отказывал, находил время для каждого, и если не был сведущ в той области, которая интересовала просителя, отправлялся в библиотеку; говорят, его советы помогли совершить два мировых открытия в математике, глобальное переосмысление философии экзистенциализма и прорыв в сфере рыболовного промысла; в последние годы он, будучи в преклонном возрасте, отошел от бурной деятельности и, получив солидную пенсию, поселился на даче, в двадцати километрах от города; сажал картошку, чесал репу и слушал полонезы Шопена по радио; от реальности старик был далек и участия в общественной жизни не принимал; ректоры и проректоры рванулись к нему, на ходу составляя речь, призванную воспламенить богатое некогда воображение; “Как скажет – так и поступим”, – перешептывались в толпе; завидев несметную ораву, испуганный Крутиков юркнул под одеяло (торчали одни глаза) и оттуда закричал, завозмущался; ученые мужи успокоили старика и коротко поведали о причинах срочного визита; осознав, что его не собираются убивать и грабить, авторитет выполз на белый свет, покашлял для солидности, поправил ночной колпак и попробовал понять точный смысл слов непрощенных просителей; газеты он не читал, от недавних событий был в стороне, и долго не мог поверить, что ему говорят правду, а не насмеваются над ним; потерявший терпение ректор полоснул ножом по спинке кровати – хлынула кровь, как из перерезанной артерии,

старик вскрикнул и порывисто закрестился;
академики снова принялись сбивчиво
объяснять суть проблемы, но теперь уже
Крутиков слушал внимательно, прикидывал,
шевелил бровями”, – впрочем, последнюю
подробность оставим на совести Марты
Мартыновой, единственного (и скрупулезного)
биографа санинспектора, которая в тот
злополучный день оказалась с подругами во
дворе крутиковской дачи, привлекая детское
внимание небывалой роскошью; девицы
вскарабкались на витиеватый балкончик и
заглянули в спальню; две из них впоследствии
стали хористками, а третья выбрала
писательское поприще; беллетризованная
биография А. Н. К. переполнена подобными
неловкими и незначительными деталями; ну
вот шевелит почтенный дед бровями – а к
чему это знать читателю – неведомо; в своей
прозе Мартынова нарочито делает акцент на
бровях, особенно на густых, кустистых;
пылинки, положение волосков, динамика
цвета – все идет в жилу, так сказать, в кость, в
масть, при этом личность персонажа и
перипетии его жизни блекнут и теряются на
фоне огромных разросшихся бровей; тем не
менее важнейшая сцена беседы санинспектора
с просителями передана с минимальным
количеством “телесности”, оттого что книга о
нем написана в золотой юности авторессы,
стиль еще не заматерел, не обрел “уникальные
акцентуации”; “Крутиков думал недолго, он
все взвесил, оценил, принял к сведению и вот
готов дать решение; гости впились в него
умоляющими взглядами. “Ну же, дорогой, -
подбодрил ректор, - скажите что-нибудь!”
Сергей Анатольевич потер бровь и

заговорил...” Он начал издали, попенял на общее бескультурье, прошелся по внешней политике, жестко осудил строительство соседом кирпичной бани, а насчет разрезов сказал: “Ответ на вашу закавыку легок как бровь. Посмотрите на кровь – темноватая, тухловатая, будто тело мертво, а внутренние жидкости еще имеют незначительное движение. Делаю вывод: город – труп. Не знаю, кто из вас убийца, и не хочу вдаваться в мелочи. Но стогны разлагаются. Даже отсюда чувствую слабые миазмы. А уж там вонь омерзительная. Мне – бывшему санитарию – весьма противно такое положение.

Посоветовал бы вам начать немедленно его расчленять и избавляться от гниющих кусков, не то тлетворные бактерии расвираются, придут болезни, настанет мор, выпадут брови”; не на шутку испуганные пророчеством старого чиновника, ученые немедленно отправили своих представителей в правительство; неизвестно долго или коротко беседовали важные люди, только на следующий день газеты запестрели заголовками: “ТРУПНЫЙ ЯД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!” “СОВЕТЫ ЮНЫМ РАСЧЛЕНИТЕЛЯМ”, “КАК ВЫЖИТЬ В МЕРТВОМ ГОРОДЕ”, и т.п.; строительная техника была снята с привычных объектов и брошена на центральные улицы – решили начать с них; инженеры металлургического завода за неделю изобрели огромную пилу-ножовку, которая крепилась на двух стальных стойках и вгрызалась в мостовую, вибрируя и повизгивая, и в считанные минуты добиралась до глубинных пластов; разделенные таким способом куски вырывались экскаваторами и

отвозились на свалку; гнилую плоть предполагалось утилизировать химическими методами – их разрабатывали в секретных лабораториях; по проспектам потекла кровь, то мощной струей, то извиваясь затейливыми абстрактными узорами; жители ошалели от крепкого запаха и с восторгом втянулись в кровавую вакханалию, словно отказываясь понимать, что разрушение города неизбежно приведет к уничтожению домов; тысячи людей в окровавленной одежде копошились на улицах, кромсая, рубя, пиля и дергая; вывернутая с корнем земля продолжала кровоточить; ученые задавались вопросом о глубине расчленения – имеются ли пласты грунта, где нет крови? – и не находили ответа; город разрезали, кромсали, кололи, били, забивали, кроили, крошили, рубили, пилили, делили, анатомировали, вскрывали, шинковали, распарывали, пластали, умерщвляли, ставили в безвыходное положение, потрошили, оперировали, убивали, а также зашибали, колошматили, месили, молотили, обрабатывали, мозжили, лупцевали, мутузили, повреждали, пыряли, давили, секли, трепали, хряпали, швыряли, пытали, утюжили, и снова разрезали, кромсали, кололи, били, забивали, кроили, крошили, рубили, пилили, делили, анатомировали, вскрывали, шинковали, распарывали, пластали, умерщвляли, ставили в безвыходное положение, потрошили, оперировали, убивали, и опять зашибали, колошматили, месили, молотили, обрабатывали, мозжили, лупцевали, мутузили, повреждали, пыряли, давили, секли, трепали, хряпали, швыряли, пытали, утюжили

и косвенно – о полете

до тех пор, пока не добрались до недр, оттуда,
из крошечного отверстия, незаметного даже
при пристальном осмотре объекта, шел
странный свист; он прямо свидетельствовал о
том, что через скрытую дыру проникает
воздух,

и косвенно – о полете;

вот так

глодаешь мозговую кость, а за окном туман
клубится, март, как бы раздвоенный в сонных
глазах смотрящего, всюду, и, взявшись за
руки, попарно, по улице

ходят школьницы, напрочь пьяные или
слишком веселые, ошалели от ветра и мокрого
снега; встать бы, размять ноги, сходить,
предположим, к торговым рядам, прикупить
шаль шальной жене, но сразу одергиваешь
себя, задаваясь осторожными и вместе с тем
жестокими вопросами: зачем
слепорожденному прогулки, да еще в людных
местах, велик

риск наткнуться на компанию гопников, на
острый предмет, на бродячих собак,
подхватить грипп, и не солоно хлебавши
вернуться назад, чтобы заснуть под мерное
гудение телевизора,

где давно кончился эфир, и я когда-нибудь
расскажу тебе свой недавний сон, и он
лечет, прижимаясь, не нужно, лучше

напомни, когда появляются первые бабочки,
самые первые –

изначальные –

возникли много тысяч лет назад, в то время
они были косматыми обезьянами, прыгали по
длинным лианам, переговаривались с
помощью резких гортанных звуков и вели
дикий образ жизни,

присущий, впрочем, любым животным –
убивали, совокуплялись, валялись в грязи,
вычесывали вшей; а потом стали
трансформироваться: изменились повадки и
привычки, укоротились конечности,
выпрямились спины,

выросли

хоботки и сквозь позвоночники прорезались
крылья, и тогда они поднялись в воздух
разноцветной стайкой, опустили на красные,
словно облитые кровью, головки гигантских
тропических цветов и принялись

поглощать нектар; как ты себе представляешь
полеты бабочек;

себе – никак, но тебе, тебе

я представлю в лицах, и полеты и балеты, и
осенние перелеты, и замирания сердец, и
бессердечную толпу на площади; народ ахает
и охает, не в силах оторваться от зрелища –

воронка, пролом,

яма, выбоина, огромная трещина,

того и гляди сверзитесь, шикает мать на
вертлявых сыновей, и суровые милиционеры

пуще сдвигают брови, и грозят дубинками, и
призывают

любопытствующих отойти на безопасное
расстояние; но если хочется проникнуть и
приникнуть – перелети через круг охраны;
достаточно

сжать ноги в коленях, толкнуться, и вот мы
поднимаемся вверх, и воздух густ и тепел, как
морская вода возле поверхности;

что ты скажешь о доме; он вдали; о синеве;
синева заледенела; о тяжести; о тяжести не
знаю;

точка с запятой в данном случае визуально
отображает движения пловца или птицы,
символизирует колебания бабочки над ямой;
непроницаемые

лица бывших вертухаев; нервные гражданки
пихаются локтями, дабы пробраться и
установить суть - и тут же отброшены назад;
толпа волнуется как водоросль; спокойно,
медленно пролетаю над касками и вижу,

что скрывается от гражданских: изгиб, излом,
провал; с высоты (прожитых лет, прошитых
тел, пройденных лье) – расщелина кажется
небольшой лункой, и на дне

– сверкание; может быть мы – вороны;
случайный блеск иглой вонзается в глаз; мы
любим пестрое, яркое, кричащее – и пышные
шали, и дальние дали,

когда-то мы любили других людей,

со снулыми физиономиями, вредными
привычками, невыносимыми правилами, с
бесконечным запасом ненависти и отчаяния,

родных, чужих, немногословных и
красноречивых, толстых и тонких, а теперь мы
перешли –

так переходят отражения из зеркала в зеркало,
бледнея раз от раза, достигая прозрачности, –
на блестящие вещицы, и если поскользнешься
на мартовском ледке, рухнешь всей грудью на
жесткое, и глазом,

как на нож,

напорешься на дыру, - не торопись сматывать
удочки, остепенись, вынь тетрадь для
наблюдений, пиши:

когда-то

мы любили

других людей,

балагуров и молчаливых, в апатии и в
экзальтации, не верящих в собственную
смерть, равнодушных свидетелей мелких
преступлений и мелких мошенников, людей,
которые проходили сквозь нас

как сквозь воду

или густую тень корявой акации, людей,
которые вечно куда-то спешили, и людей,
лениво развалившихся на диване; когда-то,
сорок тысяч лет назад, мы брались за руки и
болтали запястьями,

и бродили по проспектам, и они непременно
выводили к торговым рядам, и мы покупали
шали, флаконы дешевых духов, маленькие
блестящие безделушки,

и брызгались и смеялись, и говорили о других
людях, полнокровных, сильных, красивых,
способных на высокие чувства, мы их любили,
тайно и явно,

и они отвечали нам по-разному – взаимностью
и холодностью, в зависимости от настроения,
и не было ничего горше отказа и слаще
согласия, и бытовой героизм состоял в том,
чтобы не хлопнуть

дверью, не расплакаться при всех, не
превратиться

в весенний дым, и давать течь событиям и
явлениям; мы любили шумные посиделки,
сальные шутки, открытые окна и зажмуренные
глаза, любили

прятаться и быть найденными, отвечать за
свои слова и нести заведомую чушь, бегать
наперегонки и плестись в хвосте,

лежать в колючей траве и стоять под
проливным дождем, хранить секреты и
выдавать чужие тайны, бормотать на
несуществующих языках и петь популярные
песни, шагать строем и

брести вразброд, мы любили город - и
кирпичные стены и стылые лужи, и безлюдные
парки, и громкие танцплощадки под небом, - и
всех бездомных собак и кошек, и всех
домашних

собак и кошек, и поди еще посмотри, какая
сильнее озлобилась за годы скитаний или
неуемного холения, любили

резкие звуки и вкрадчивые, шелест шин,
дробный перестук копыт, нарастающий шорох

ветра в ветвях неизвестного дерева, мы
любили детей

и женщин преклонного возраста, молодых
продащиц мороженого и веселых грузчиков,
циркачей (мы обожали цирк) и трюкачей,
гимнастов и фокусников, белые ленты,
фетровые шляпы,

голубей под куполом, мы любили ложиться
поздно, а вставать рано, любили сны – и
добрые и страшные, но все-таки настоящее мы
любили больше, нам нравилось

ощущать вещественность мира:
шероховатость бетона, гладкость яблока,
плавность своего голоса, упругость резинового
мяча, липкость пальцев после держания
медовых сот, тяжесть

учебников, хрупкость и нежность паутины,
легкость сухих листьев, скорость, с какой
черная взъерошенная крыса бежит из подвала
в подвал, стремительность,

с какой улепetyвает магазинный воришка,
быстроту мотоцикла на ночном шоссе, мы
любили ловкость канатоходцев, силу
гиревиков, гибкость гимнасток, любили
делать гербарии, лепить из пластилина,
рисовать рожицы, заводили коллекции марок и
бабочек, стряхивали крошки с обеденного
стола, читали

вслух и про себя, плакали по пустякам,
жаловались на соседей по партам, дрожали от
холода, хотели есть, падали, катились,
стучали, грызли, давились, приходили в
чувство, выпивали

стакан молока, бегали по постелям, выбивали
пух из подушек, секретничали, ссорились,
мирились, мечтали, красили ногти, веки, губы,
подводили ресницы, подводили родителей,
возвращались навеселе,

кашляли, ставили градусник, лежали в
забытье, говорили комплименты, беспричинно
лгали, таскали печенье, мыли посуду, мы
любили мужчин –

кареглазых и голубоглазых, сильных и
стройных, правых во всем и не правых ни в
чем, грубых и жестоких, мягких и
обходительных, богатых и нищих, высоких и
низких, ревнивых и доверчивых, мы любили

женщин с модельными фигурами или
мешковатыми телесами, женщин, которые
знают себе цену и по утрам без поводов
выгуливают ухоженных шпицев, носят черные
очки и кожаные плащи с хлястиками, говорят
отрывисто

и всегда по делу, уезжают на курорты и не
возвращаются, мы любили домашних
девушек, старомодных и неуклюжих, с
леденцами

в карманах серых пальто, стеснительных и
развязных, обрученных и обреченных,
девушек, которые смотрят сериалы и
обсуждают весенние скидки, пересдают
экзамены и ловят такси,

переходят дорогу в неполюженном месте и
годам к двадцати непоправимо стареют,

мы любили друг друга –

за звонкий смех, порывистые движения, по
привычке, по зову крови, просто так, мы

таскали друг друга за волосы, бранились,
швырялись грязными носками,
использованными салфетками, бокалами и
тарелками, снежками и песком, и питали
настолько глубокую взаимную ненависть, что
примирение затягивалось на месяцы, мы
проводили время в ничегонеделании, вяло
валандались

в подъездах, распевая тюремные песни под
гитару, плевались с балконов, дергали котов за
хвосты, подкладывали кнопки под зад, писали
мелом на заборе, носились

как угорелые по заброшенным стройкам,
собирали макулатуру, качали мускулатуру,
подглядывали за девчонками, динамили
мальчиков, ходили попарно, лечили ветрянку,
водянку и педикулез, не лечили

грипп и ангину, не следили за происходящим в
стране, по праздникам махали флажками,
рассыпали конфетти, выразительно читали
стихи, получали поощрительные призы, на все
лето уезжали в деревню, и запах

конюшен был нашим сердцам чрезвычайно
мил, и сеновалы скрывали больше тайн, чем
дворцы,

и жужелицы, и кузнечики, и божьи коровки
скакали, ползли, роились, копошились,
издавали различные звуки, пугали

маленьких, а еще мы не приходили вовремя,
давали трогать себя за грудь, грубили
бабушке, долго одевались, клевали носом,
жгли костры, неслись в тряских вагонах,
дрыхли на верхних

полках, сдували пенку с молока, теряли
варежки, ключи, шапки, находили потерянное,
мучились от незнания, -

и за все про все – за случайно сказанное
обидное слово, за незастланную постель, за
раздавленного жука, -

мы превратились в дым, -

оттого, что быстро бежали или как-то неловко
повернулись, и что-то хрустнуло в шее, –

мы превратились в дым, -

оперлись на перила, внимательно глядя на
балкон соседнего здания, где кто-то, похожий
на нас, играл с котом, -

и превратились в дым,

шагнули через лужу, которая волнисто
отразила наши широкие юбки, -

и превратились в дым,

- хлопнули в ладоши назло воспитательнице,
рассмеялись,

- и превратились в дым,

- сослались на стечение обстоятельств,
припомнили подробности, описали
подозрительных лиц,

- и превратились в дым,

– мы превратились в дым ничтоже сумняшеся,
спрохвала, без большого усердия,
элементарно, и началось бесконечное
путешествие к вершинам

и кронам, и крышам, и шпилям, и тучам, и
звездам, и ветер

шептал и подвывал, и подвывая, тянул за
собой в голубую прорву,

и мы,

не желая расставаться с миром малых и
больших величин, геометрических свойств,
вязкости и упругости, прозрачно и призрачно
стлались по земле, и проникали

в закрытые окна через крошечные щели, и
ничего не видели, не слышали, не ощущали,
но все-таки каким-то непостижимым образом,
третьим глазом, шестым чувством,
ориентировались в (уже)

причудливо устроенных пространствах
меблированных комнат, и, отчасти перенимая
свойства проемов и выемок, передавали
окружению собственные – таинственные –
свойства, и вещи,

возможно, приходили в движение, и
возможно, невесомо поднимались к потолку и
болтались, стучаясь ножками, ручками и
прочими причиндалами, пока мы
улетучивались,

собирались в белесый шар, распадались
бледными лохмотьями и низко плыли над
подстриженными газонами, лысоватыми
лужайками, лесными тропинками,

мы устремлялись

во все стороны одновременно, чтобы сойтись
на перекрестке четырех улиц, названных
именами мертвых людей, и шпарить по
прямой,

вкривь и вкось,

налево и направо;

на первых порах было странно ощущать
отсутствие наших теней на тротуарах, наших
отражений в блестящих поверхностях, и
других примет недавно минувшего,
становилось

неловко за мир, разучившийся повторять,
было странно и отсутствие взглядов, голодных
и холодных, колючих и ласковых, будто резко
отключили свет, и ты, незримый для
собеседника, ждешь ответа, а он, секунду
помешкав, переводит внимание на нечто
безусловно реальное –

танцы окуней в садке, щетину рыбаков,
прибрежную гальку, - и не скажешь по его
невозмутимому виду, что мы когда-то
существовали;

полную невозмутимость сохраняли и
остальные невольные свидетели нашего
когдашнего бытия, куцые кусты вдоль
дороги, ручей, смятая пачка папирос, мокрая
скамейка, мокрая

болонка, дождь, квадраты окон, стеклянные
витрины, предприимчивые таксисты, хмурые
прохожие, травинки, песчинки, сорок тысяч
лет назад они помнили наши прикосновения,
структуры наших перемещений,

голоса и вибрации, запахи и формы, а ныне
сохраняют каменное молчание, придурковатое
замешательство; в тотальном забвении кроется
определенная

прелесть, недоступная тем, кого помнят, или
живущим: никогда не быть и при этом все-
таки вскользь, краешком быть, украдкой
подглядеть чужой сон, сонм

цветных огней; на первых порах мы двигались
неуверенно, шаря белесыми лохмами, словно
слепцы, мы двигались спотыкливо, не решаясь
оторваться от земли, мы

еще помнили прочность асфальта и
неуклонность привычных маршрутов,
посредничество дорожных знаков и
непостоянство природных стихий, мы смутно

боялись дворовых псов, неустановленных
гражданок и подвыпивших молодых людей,
нас тянуло домой, в детские комнаты, на
площадки, в классы, в огороды и палисадники,
нас влекли запахи и вещи, и мы не могли
отказать себе в удовольствии

проникать

и приникать;

спустя недели или годы прежние связи с
миром ослабели, и нас уже ничего не
удерживало от того, чтобы не рухнуть и не
хлынуть на все четыре стороны, и сначала мы
взлетели над домами и лужайками, над
лужами и парками, над

шпилями, над птицами, над

пестрой вереницей горожан и автомобилей,
затем ринулись на восток и север, запад и юг,
мы пролетали над озерами, речушками,
океанами, над

несметными лесами и оснеженными горами,
над бедными деревнями и крупными
мегаполисами, мы пролетали Париж и Пекин,
Таллин и Лиссабон, парили

над пальмами Африки и льдами Антарктики,
за пару тысяч лет изучили земной шар вдоль и

поперек, и, отчаянно заскучав, рванулись к
звездам, и по мере того, как уменьшалась
Земля, расширялся космос,

и вскоре черное пространство поглотило все, и
твердые тела казались в нем густыми каплями
масла в бескрайнем океане, медленно
поднимаясь, мы с детским удивлением
ощущали мир – перед нами

развертывалась гигантская панорама планет и
явлений: мелькнула ноздреватая Луна и сразу
пропала, проплыл угрюмый Марс и горячая
Венера, сквозь нашу эфирную плоть
заструилась

россыпь астероидов, через тридцать лет
поблизости пронесся мрачный метеорит, через
девять веков – рядом скользнула комета; когда
мы преодолели пределы солнечной системы,

земные воспоминания в нас успели
основательно забыться, затем и вовсе пропали,
будучи вытеснены свежими впечатлениями:
мы следили за тем, как вспыхивают новые
солнца, как потухают старые, мы видели
рассеянные галактики, алмазные планеты,
небесные тела с сотней маленьких лун,
космическую пыль, газовые облака, и чем
дальше уходили

в глубины реальности, тем диковинней
становилось окружение, мы чувствовали
гравитационные волны, текли мимо ярких
квazarов, видели корональные дыры,
магнитные бури, и продолжали

исследовать расширяющуюся пустоту, и через
неопределенное, немислимое количество лет
приблизились к границе вселенной – это была

сплошная твердая поверхность, мы долго
летели вдоль нее, пока не поняли, что она
простирается

бесконечно, и надвинулись вплотную,
наблюдая строение стены – шершавость,
складчатость, мелкоструктурность, - перед
нами будто окаменевшая

губка или засохший мох,

и почти тотчас обнаружили
немногочисленные отверстия, куда можно
просочиться, – кто бы не загорелся желанием
попасть по ту сторону вселенной, – мы
набрались храбрости, изменили форму,
сжались, съежились и юркнули,

и почти перебрались на другую сторону –
перед нами мелькнули пузырьки, стайкой
проплыли вдалеке пятнистые рыбешки и
скрылись в водорослях,

но что-то не пускало, держало, мешало
полностью перейти, я рванулся, еще и еще раз
рванулся, услышал как трещит мой выдавший
виды пиджак и поостерегся

дальше прорываться, неужто зацепился за
гвоздь, и как теперь быть, если – гвоздь, если –
не успею спрятаться,

бег

они уже в подъезде, их много, стучат,
повышают голоса, требуют немедленно
открыть, чего я делать, конечно, не собираюсь,

мне,

господа хорошие и рабы дурные, дорога
жизнь,

я,

как все зайцы, испытываю отвращение к
охотникам с двустволками, на гнедых рысаках
они бороздят весенние леса и, едва начинают
гон, пускают псов, несдобровать

тебе, Маша,

говорила мама, и точно – мне было
несдобровать – я неспешно прогуливалась по
двору, отрешившись от реальности, и кто-то с
десятого этажа, а то с самой крыши, кричал –
вернись,

забыла покормить канареек, и нужно
вернуться, и птицы смиренно ждут, однако
вернуться не получалось, потому что ноги
несли к облупленной скамейке, на которой
сидел молодой человек и покуривал,

и философски размышлял о том, о сем,

особое внимание уделял деревьям, вот,
размышлял, люди губят деревья, а они все
равно растут, растут и растут, и куда растут, и
зачем, неужели до облаков дотянуться хотят,
думал этот мужчина,

и в голове сами собой рождались поэтические
строки о том, о сем, об озеленении и конце
человечества, впрочем, поэзия – очевидное
баловство, есть дела поважнее, нужно
убежать,

вот сейчас высунусь из кустов и задам
стрекоча, пока они чистят двустволки и гладят
гончих,

среди них наверняка есть специально
обученный человек, умеющий снимать
 меховые шкуры с еще живых зайцев или
куниц, он азартный торгаш и на рынке первый
кричит – не проходи мимо,

ай вай, какие шкурки, дешево отдам, и если
сторговаться с ним на большую партию
пушистого товара, может принести до дверей,
зайдет в подъезд, топя сапожищами, и
застучит – кто,

дескать, дома, - а ты не открывай, мама велела
никого не пускать, придумай пустяшный
предлог, скажись больным, уйди с головой под
одеяло, а лучше улепетни, потому что
продолжает назойливо

барабанить и бормотать, ничего не разобрать в
быстрых полубезумных словах, так и хочется
остановиться, попросить прикурить,
прислонился к стене – и вот, значит, вершины
деревьев

шелестят и навевают воспоминания, средняя
часть, впрочем, тоже шелестит, но
воспоминаний отчего-то не навевает, скорей –
тоску, а нижняя, самая куцая – напоминает о
детстве, да-да, я тоже был ребенком, не таким
умным, как Декарт, и все-таки

умным невероятно, я родился и полюбил мать,
жизнь, природу и мир, я ходил в ясли, говорит
наш мемуарист, и однозначно лукавит –
никаких яслей он не посещал, ибо не было у
мальца ни рук ни ног, ни головы,

ничего не было,

он висел бесформенной серой материей в углу
школьной доски и отдельные прозорливцы, то
бишь первые ученики, замечали странное,
морщились, неприлично тыкали пальцами, но
накатывала лень, было сложно подняться и
разобраться, остальные

во всеуслышание заявляли, что там испокон
веков висит половая тряпка, закинутая неким
шутником из десятого, и суетливый,
неввысокий человечек – учитель математики –
ворвался в класс;

он держал кипу тетрадей и принялся
раздавать, небрежно кидая на парты троечные
работы и аккуратно кладя отличные; долго
прицеливался глазами, прежде чем вызвать
кого-нибудь, и едва наметил жертву, обратил
внимание на странных учеников перед ним –
два мальчика и три девочки каким-то образом
умудрились расположиться за одной партой и
даже – взглянул сбоку, – на одном стуле, что
противоречило законам

здравого смысла, необходимо сейчас же
разобраться, ситуация пренеприятная, встать!
возопил человечек, голос дрожал от
негодования, но никто

почему-то не встал, словно его и не было,
ученики продолжали шушукаться, играть в
телефонах, а наглейший прогуливался между
рядами, педагог

из меня, сами понимаете, аховый, зато ладони
имею массивные и, предвкушая массовое
отвешивание подзатыльников, стал подступать
и вдруг вспомнил о супе,

уходя из дома, забыл выключить – мясо
переварится, бульон выкипит,

а то

пожар начнется

и мир качнется,

а то

– схватился за голову и опрометью бросился

к ВХОДНЫМ,

но там долбился и злился директор, очевидно
есть, что сказать, раз так категорически
шуршит и рвется, зажал уши, не хочу слышать
приказной тон, и заметался – открыть нельзя,
неизвестно, что у него на уме, но попасть

в квартиру необходимо – повернуть вентиль, и
я воспользовался окном, благо, занятия на
первом этаже, улизнул и – вдоль кустов, дома
ждет красавица жена, первостатейный обед,
детишки опять-таки в неглиже

суетятся над нелепой детской постройкой, что
же вы строите, охламоны, и я сунул палец,
неглубоко, но достаточно, чтобы ощутить
резкую боль, меня обожгло, в плече
засвербило,

на вашего раба уставились два надменных
отпрыска, причем старший ладонями
прикрывал чертову конструкцию, и я не мог
как следует рассмотреть (зубчатые башни и
песчаные блоки?),

лишь испытывал боль, которая накатывала
волнами и тут же отпускала, чтобы снова
накатить, палец завяз в конструкции по

среднюю фалангу, ни туда, как говорится, ни
сюда, предательски

торчали уши – по ним и вычислили, дали
предупредительный и с веселым гиканьем
ринулись в погоню, я с колотящимся сердцем
выбежал в переулок, прислушался: мальчишек
не слышно, значит,

повернули в иную сторону, у меня есть
несколько минут, чтобы как следует
спрятаться; недалекие личности считают
детство чудесной порой, но у него немало
недостатков; коли поймают – несдобровать,
обещали

устроить темную, показать, где раки зимуют,
намылить шею и спустить шкуру; спрятаться
негде – город оцеплен, краснорожие фашисты
ухмыляются на каждом углу;

я

покажу фокус-покус, сальто-мортале,
исполню трюк невероятной простоты –
вернусь во двор и, сделав вид, будто так и
должно быть, стану

неспешно прогуливаться взад и вперед возле
подъезда;

на последнем этаже

охламоны в неглиже, -

так стихотворствуя, он гулял, и никому в
голову не могло прийти и взять его, - искали в
смежной области, в столице, в карстовых
пещерах, на Аляске, за дальним рубежом,
интересовались

у пигмеев новой Зеландии (карлики, к слову,
были поглощены поеданием жареной

зайчатины и не отвечали), особо усердствовал директор, в пламенных речах напирая на то, что пропал

незаменимый член коллектива, честный труженик, педагог выдающихся способностей улепетывал со всех ног, звонкие мальчишечьи голоса однако приближались, пришлось забежать в подъезд и

захлопнуть за собой – и тут же заколотили, завопили: нечестно! а он, не чуя, как сказано, ног, поднимался выше, покамест не обнаружил: выше

некуда, – в отчаянии – на хлипкую лестницу и шмыгнул на чердак; беспорядочно возлежали старые вещи – сломанные лыжи, пустые птичьи клетки, сорванные

краны,

- с лязгом и грохотом промчался по ним, нырнул в узкое окошко и зашлепал по крыше (политая гудроном, как взлетная полоса аэродрома, она тянется так далеко, что сто марафонцев не достигнут края, а лучший королевский скороход на бегу состарится), его ждал белый

пассажирский лайнер со всеми удобствами; мальчик, закричала стюардесса, сюда! и я, не смея послушаться, тихой сапой проник на борт; рядом

сидела миловидная китайка;

перед нами

– шумное семейство: два мальчика, три девочки; парни поминутно шушукались, ругались, дергали сестер за волосы, а на

огромном экране вот-вот начнется кино, -
требовалось

срочно стреножить охламонов, и я обратился к
мамаше; она, видимо, была глуховата, глубоко
погружена в собственные фантазии или просто
дура, поскольку на мои замечания,
произнесенные то шепотом, то вполголоса, то,
наконец, криком, не реагировала,

а став отвечать, роняла не относящиеся к делу
выражения, белиберду случайных мыслей,
окрошку невнятных слогов; отроки, впрочем,
моментально успокоились, едва по полотну
поползли титры;

фильм, видимо, шел авангардный, потому что
титры не закончились и через полчаса; я
клевал носом, зато остальные внимательно
смотрели и возбужденно обсуждали;

вдруг сонливость как рукой сняло – после
аршинного списка иностранных фамилий,
начался перечень русских, и вполне
узнаваемых, будто даже каким-то образом

связанных с вашим покладистым рабом –
ФИО учеников, преподавательского состава,
особенно часто повторялась фамилия
директора, написанная

то жирным шрифтом,

то наклонным,

то витиеватым,

то строгим;

то сбоку полотна,

то снизу,

то сверху,

то малозаметной точкой вспыхивала в центре,
словно некие силы предупреждали: опасность!
я смутно догадывался, что от директора можно

ожидать всего, вплоть до увольнения или
вызова родителей в школу, посему принял
решение удрать;

несмотря на то, что было неудобно портить
зрителям удовольствие, сделал попытку
подняться, и тут же, охнув, опустился – локоть
свело от боли,

наверно,

заноза от старого расшатанного кресла
впилась, пока пялился на экран, а то – совсем
неприятно: гвоздь; пиджак придется
выбросить, не ходить же с заплатой, буднично
размышлял он,

не подозревая, что в будке киномеханика
сидит директор, субтильный, потный,
прибывший с санитарной инспекцией, и в
стенную лунку сурово глядит на учителя, как
бы желая убедиться,

что у одного не протекает кран, а киномеханик
со всего размаха рубит кровавую тушу дикого
животного, причем замахивается не из-за
спины,

а со стороны,

- потолки низкие; если брызги крови
остановить в полете, они будут похожи на
перья, листья тропических деревьев,
фракталы, блестящую россыпь драгоценных
камней; делается

все больше остановленных брызг, и уже
трудно дышать – запах крови острый и

сильный, всплески твердые, приходится
наклоняться, изгибаться, перемещаться
караморой, каракатицей, – и дверь

не различить, и как бы под подлый топор не
угодить; шагай по перьям, по листьям – и
непрерывно куда-нибудь выбредешь,
произносит мама; осторожно

шагаю и падаю на пол; зрители шикают и
топают, цыганка пытается закрыть мне шалью
глаза, но я мотаю головой – дескать, и так
темно, и приятели навалились, делают
темную, хохочут, –

как на моем месте поступил бы взрослый
мужчина, солидный, опытный, уверенный в
себе, как? Ворвался в будку, учинил скандал?
Написал разгромную статью в газету? Лично
наказал охламонов? Уволил провинившегося
педагога? Стегнул нагайкой

негодную псину? И та стрелой умчалась в
сырые заросли, облитые розовым утренним
солнцем, и все блестело, даже кокарды у моих
спутников, и усы

у проводника, который то и дело порывался
сбежать, потому что ощущал незримую
угрозу, а нам хоть бы хны, мы любовались и
развлекались, покамест он барахтался в
темноте, звал

мамочку и пытался вырваться, ничего, шепнул
мне на ухо неизвестный, скоро кино кончится
и настанут удалые деньки, запоют пташки,
вылезут букашки, поползут мурашки,

и вот город кипит, бурлит, грохочет, кроны
шелестят, студентки, румяные, веселые бегут,
бежишь и ты, лохматый, давно не бритый, в

нелепых обносках, поклонник античных
киников, приверженец
рационального образа мышления и злейший
враг любой религии; все вокруг любопытно,
все представляет чрезвычайный интерес;
например, марафонцы, – что
побудило вас
пробудиться
на рассвете, и бежать сломя голову; замерли
автомобили, замерли и прохожие; поначалу
трусил одинокий спортсмен в красных
трусиках, но уже тогда горожане кричали
“ура!” и снимали
шапки, восторгаясь способностью трусить, не
будучи трусом; проходили годы; на каждом
перекрестке к нему присоединялись граждане
в красных трусиках,
и вот уже толпа здоровых лбов *бесстрашно*
несется по асфальту; догнать их нет никакой
возможности, - равносильно превращению в
гонимого пса; сколько? понятия не имею, -
тысяча,
миллион, -
мельтешат, мелькают, надвигаются
размазанными кусками одежды, разорванным
пространством, искаженными формами, и
топот, и тяжелое дыхание, и посторонние
звуки, - всё словно приносится издалека и
хаотично вплетается
в общую картину,
я,
в эпицентре грохота

и мерцания, не могу различить, по вертикали
бегут или по горизонтали, боком или спиной,
заполняя области видимого, оставляя кривые
прорези просветов: клочок голубого неба,
серую лужу, корявое

сочетание ветки и вывески; малейшее
перемещение вашего больного раба изменяет
сцепление теней спортсменов и световых
пятен; делаюсь калейдоскопом; мир

кружится и трепещет; задыхаюсь, но
продолжаю бежать, до финиша недалеко, у
меня приличные шансы попасть в десятку;
алеют флажки, неразборчиво скандирует
толпа, напряжен тренер, и тут краем глаза
замечаю

картинку из криминальной хроники:
незадачливый воришка украл шаль и
улепетывает вдоль торговых рядов, за ним –
раззадоренный народ – гопники, цыганка,
господин в пиджаке;

вор ловко уворачивается от протянутых рук,
карабкается на прилавки, давит головы
манекенам, лезет по шубам, валится в груды
товара, барахтается, выныривает, и
продолжает побег,

безнадежный, в сущности, потому что
преследователи взяли меня в кольцо, свирепо
улюлюкают, трясут копьями, сейчас бросятся,
и не помогут обереги и наговоры, и не спасут
утреющие звезды;

к счастью, вспоминаю: забыл выключить

чайник,

- и озабоченно иду в направлении дома; куда
бы ни пошел – везде мгла, выколи глаз, погаси

свет, двигаюсь наощупь возле шершавой
стены, бесконечной как бесстыдство; с
веселым визгом

охламоны отпирают засов, в меня вонзаются
солнечные лучи, не решаюсь выйти, стою на
пороге, сжимаю кулаки; растет желание
курить, скучающий мужчина дымит у
подъезда, у тебя спина белая, вот так,
допустим, невзначай разговоришься с
незнакомцем,

поведаешь свои печали, пристрастия,
сокровенные тайны, выложишь подноготную,
а он окажется образованным человеком,
педагогом, стаж у меня без малого сорок лет,
ученики ценят за чуткое сердце и обостренное
чувство справедливости,

а коллеги,

коллеги отнюдь – не ценят, отпускают
шуточки про белую спину, учиняют мелкие
пакости и ждут увольнения по собственному,
увы, мне уходить не к спеху,

педагогический долг повелевает закончить
начатое, а конкретнее – разобраться с
отстающими (три) и воспитать охламонов
(два), причем первое –

легкотня, тупые дети скоро встанут на путь
знания, а дисциплина позорно прихрамывает,
нарушения проявляются в виде
возмутительной шуточки, достойной дешевого
балагана, вообрази меня,

хворого человека, который ранешенько
прибыл, дабы поспешествовать, трамвайный
дребезг еще отдается в ушах, и пламя рассвета,

и влажная зелень, и ледок, - уйма впечатлений!

уйди в ледок,

обмозгуй структуру, пузырьки, процессы
превращений, или коснись зелени пытливой
мыслью, но нет – шум и гам, будто в купальне,
и кто-то исподтишка разлил подсолнечное
масло и зашептал

на ухо (столь осторожно и вкрадчиво, что
слова его принимаю за собственные):

выключить,

погасить,

забывать,

возвращаться;

ну дела – сюда прибежал, а дома непорядок;
командую: полный назад, и ускользаю, как
мне кажется, споро и проворно за двойные
двери, киваю

детским лицам, чопорным портретам на
стенах, мельком пожимаю смуглую ладонь
директора, и тут, господа, выясняется, что
никуда я не продвинулся,

ни на пядь, ни на миллиметр – топчусь на
месте, масляные подошвы проскальзывают и
становятся в исходное положение, а классные
юмористы, открыв слюнявые рты, в немом
восхищении

наблюдает за кривляньями идиота; мелькает
спасительная мысль: не упасть в грязь перед
всеми и трансформировать бег в
импровизированный танец, свидетельство
весеннего настроения;

чардаш, кадрили? моменту

идеально соответствует лунная походка;
медленно провожу по бобрику стриженных
волос, словно по взбитому налакированному
коку, резко

откидываю голову и с пронзительным стоном
кладу пальцы на пах, понимая, что такую
свободу не ощущал никогда; тело приходит в
танец, каждая мышца играет, из груди рвутся
гортанные звуки, то кружусь, то извиваюсь, и
быстро

перебираю ступнями, вскоре колебания мышц
приобретают выборочный характер – затухают
повсюду, а в икрах и кистях усиливаются,
голень и предплечье превращаются в
безумные аттракционы,

разрываемые внутренней дрожью, буграми и
складками, причем обнаруживается
явственное соответствие и даже строгая
координация между действиями той и второй
стороны,

они как бы общаются посредством
напряжений и ослаблений, какую информацию
передают телесные члены – неведомо,
возможно, интересуются здоровьем,
спрашивают,
как матушка,
как детишки,

- и тут же ответ: старушка в добром здравии,
ребятишки в школе;

мало-помалу беседа хороших знакомых
перетекает в словесную перепалку, в которой
достаётся и мне, хотя я ничего
предосудительного не сделала, просто сидела
рядом на лавке и ждала

удачного момента подобрать окурок, и когда
наконец ты ушел, закурила и отправилась
бродить по двору, дым, впрочем, лез в глаза,
был едковат, пеленой стелился впереди, и чем
выдыхала обильней,

тем сильнее сгущалась пелена, таяли здания и
небо; из тумана фрагментами выныривали
прохожие, там бляшка, здесь – ручка от зонта;
ориентиры спутались, оком

пропал; я застыла в серой пустоте, пятки
вместе носки врозь, наклоняемся вперед,
касаемся колен, и – раз, и – два, главное, не
допустить смещения позвонков, иначе
разогнуться будет сложно,

придется в такой скабрезной позе ожидать
прибытия медбратьев, товарищей, что
говорить, серьезных и ответственных, но все-
таки человеческое нам тоже не чуждо,

и увидев неразогнутую, мы стали отпускать
глупые шуточки про белую спину,
подзадоривать друг дружку, пихать в
направлении недееспособной гражданки, а там
и вовсе на носилках

потацили ее в ближайшую пересеченную
местность, где издавна высился завод
металлоизделий, ныне обветшал, часть
построек развалились, угрюмые рабочие явно
не понимали, что здесь делают,

покуривали на бревнах и поплевывали на
плоские морды ящериц, крупная зарплата
абстрактной рыбиной плыла в облаках,
начальники давно отчалили, и мы, соображая
на двоих, приволокли

тушу в безымянный цех, там, собственно, все
и состоялось бы, однако я вспомнил: уходя, не
погасил свет, - и ускоренно ретировался;
товарищу

было неловко наедине с неразогнутой дамой,
смещение произвело в ней изменения
значительные – она утратила всяческую
способность к движению, только глаза
встревоженно бегали, остро вперялись и
опускались долу, давая

мужчине понять, что положение безвыходное;
дабы скоротать времечко с пользой, я перенес
девушку на ложе гвоздильного станка, и
принялся примеряться – с какого бока
подступить,

и так и эдак

выглядело весьма привлекательно; совесть
взывала к разуму, разум отшучивался; ветер
врывался в разбитые окна; ворвался и
директор, помешав нашей идиллии,
побагровев,

посуровев,

покачав кулачищем,

я метнулся за улепетнувшим, да негодяя и
след простыл, и поминай как звали, тем более,
ваша сволочь забыла выключить примус в
каптерке, и вернулся ни с чем; проходя
помещение

пустое, пыльное и пронзенное светом в
потолочные дыры, заметил уродливый гнутый
гвоздь на станке, охламоны не успели сгрести
в ящик или посчитали браком; смахнуть

на пол? банально для директорского чина, мне по должности требуется производить действия высшего эшелона; окуну в карман недоделку, -
и действительно – окунул;

дальнейшее пересказывать не имеет смысла, поэтому постараюсь не упустить ни малейшей подробности, именно в мелочах таится демон реального; вот, допустим,

целлофановый пакет на газоне, царапина на кирпичном обломке, светящийся хвост пузатой рыбы, за который держусь, проплывая над руинами древних цивилизаций,

еще несколько столетий назад тут пытали иноверцев и девственниц, толпы мужчин и женщин в набедренных повязках простирались ниц, взывая к жестокому богу,

а ныне площадь заросла ракушками и водорослями; вот окаменевший лабиринт торговых рядов, в прежнюю эру он наполнился бытовыми товарами, шерстяные шали в наличии вряд ли водились, но головные платки несомненно присутствовали в ассортименте;

как мне еще тебя развеселить? хочешь, намалюю на носу красную точку, а щеки раскрашу белилами? она неотрывно смотрит вдаль – на бегунов, на воробьев, на гопников, ей определенно осточертело мое соседство, а куда я денусь –

ЛОКОТЬ

прихватило плотно, если задержусь “танцующим Майклом Джексонем”, то окончательно отпугну покупателей от прилавка, они и так

осторожно застыли в сторонке, раздувают
жабры и с опаской косятся, вернее, зарятся на
товары первой необходимости – шали и
перстни; дай им волю, набросятся и умыкнут,
чем собственно,

и занимается сейчас один криминальный
товарищ, подкравшийся с краю, прямо из-под
носа умыкнул и как ни в чем не бывало уходит
восвояси, я пригладил кок, стряхнул пылинки
с пиджака

и – за воров, небрежным взмахом руки
мобилизуя оцепенелых продавцов, ничего не
подозревающий правонарушитель спокойно
шествует, и мы

втихаря подкрадываемся, он даже затянул
песню – настолько уверен в себе, даже
облокотился на прилавок, вальяжно
перебирает шали; даю

сигнал приблизиться и нейтрализовать; мы
ускоряемся, но, как в известной апории
Зенона, приблизиться не можем, потому что не
одни мы бежим, вор

тоже вяло сдвигается, и тем самым, хоть на
миллиметр, а все же дальше от нас, в отчаянии
призываю спутников мчаться быстрее, и вот
дикими гепардовыми прыжками

со всех углов наступаем, особенно стараюсь я,
нельзя подвести тренера, он сидит на трибуне,
величествен и зол, второе место у меня в
кармане, однако

впередибегущий не столь далек, и силенок
достаточно, нужно лишь поднажать, напрягаю
икры, машу предплечьем, почти догоняю
лидера, и вдруг вспоминаю:

забыл выключить

суп,

- сойти с дистанции означает оглушительный
крах карьеры, тотальное разочарование
испытает тренер, снисходительно похлопает
по плечу

и покинет нас, дабы найти
дисциплинированного спортсмена, нельзя
возвращаться, но и зажженную плиту оставить
нельзя, и я всматриваюсь в спину лидера – что
если выключатель находится там; майка
топорщится, красные

трусики мелькают, и на мгновение – спасибо
ветрам, - получается подглядеть,
удостовериться в истинности случайной
догадки, между лопаток

есть рычажок не больше двух миллиметров
диаметром, коли удастся его щелкнуть, мое
затруднение испарится, настигаю гепардовым
прыжком, тянусь клацнуть, и дама из
полумрака

подает голос: молодой человек, уберите пакли
от экрана! в испуге отшатываюсь, хватаюсь за
подлокотники; спина мельтешит и маячит,
майка то морщит, то расправляется - сущая
мышца, -

и увидеть на ней фильм проще пареной репы,
достаточно иметь толику воображения – и
завертелись бобины, поскакала черно-белая
красотка сквозь пятна и помехи на рынок за
шалью,

а следом увязались темные личности, кино
изначально немое, но в ключевой сцене

отчетливо слышен звук, буквально спустя пять
минут после пролога

девушка наклоняется стряхнуть пылинки с
колен или поправить стельку – и
оглушительно хрустит позвоночник, героиня
оказывается обездвижена посреди безлюдной
улицы, в таком

беспомощном состоянии обнаруживает ее
протагонист, пардон, таксидермист, он
уволакивает незнакомку в берлогу и пытается
расправить конечности,

к сожалению, старания не увенчиваются
результатом, неразогнутая постоянно
вываливается из кресел и вообще не
соответствует размерностям человеческого
комфорта,

тогда мужчина прибегает к крайнему средству
и превращает неудобную кокотку в милое
чучелко; увы, переборщил с центральным
ингредиентом, девушка

усохла сверх меры, вот она вдвое меньше себя
прежней, вот вчетверо, вот и в десятеро, ее
можно засунуть в карман и щеголять по
проспектам; исподволь

трансформируется и тело – она не похожа на
куколку из детской сказки, усыхают голова и
плечи, руки за ненужностью прилипают к
бокам и лишаются

объема;

опишем ее прозаически:

гнутый гвоздь;

сунув даму в карман, герой забывает про нее и
живет полноценной жизнью, влюбляется,

печет блины, переквалифицируется в плотника
по наущению супруги, озабоченной
низкой оплатой тяжелого труда чучельника,
создает приличную мебель, которая
пользовалась немалым спросом среди
рыночных торговцев, спекулянты прямо-таки
обожали ее,
выстраивались в длинные очереди за новым
столом, кусали губы, не получив
вожделенного, а получив – волокни к палаткам
и укладывали товар;
в один из бурных и деятельных вечеров герой,
забывшись, использовал даму вместо
потерянного гвоздика – пошарил в кармане,
вынул, хлестким
ударом расправил и вогнал в дерево, правда,
не учел то обстоятельство, что шляпка
отсутствовала, странный гвоздь был острым с
обеих сторон и остался
слегка торчать (неприятным сюрпризом,
мелкой погрешностью); голос комментатора
навязчиво бубнит над ухом, отодвигаюсь и
морщусь, он продолжает
рассказывать о перипетиях в фильме, будто
мне интересно, будто сам не вижу; снова
раздается хруст, на этот раз мягкий
и вкрадчивый,
поворачиваюсь и замечаю голое юное дерево,
посредством ветра оно машет всеми ветками,
точно прощается одновременно с сотней
человек, во мне
просыпается первобытный инстинкт, бегу,
хватаясь, карабкаюсь, - и уже возле вершины,

толчок – и на другой пальме, пули не заденут,
они не реагируют на запах, а собаки

могут, ибо голодны и свирепы, я тоже голоден
неимоверно, истощен до предельной степени и
намерен вернуться и выключить проклятый

суп,

тут самое важное не привлекать внимания,
пройди с незаинтересованным видом, сорви
цветок с красными лепестками (бегонию),
посчитай

количество оных, вздохни, улыбнись праздной
даме, закури, и ежели пожелает передать
скромный презент офицеру любопытной
наружности, то поработай

мальчиком на побегушках, чай, спина не
переломится, - потреплет по волосам,
выдохнет в лицо сизую струйку дыма,
небрежно

сунет незначительную безделушку; как
величайшее сокровище сжимая пустячок –
ключ или гвоздь, – ты отправишься выполнять
поручение

и через сорок тысяч лет прибудешь в нужное
место, на тихую набережную, под раковую
сень, мужчина недурной наружности, дымя и
плюясь, замер у оградки,

конечно, он доволен собой и жизнью, но все-
таки чего-то ему не достает – возможно,
ключика или гвоздика, поэтому на его физии
нет-нет да и появится потерянное выражение,
еще мгновение,

и он будет ошарашен, еще парсек, и
подойдешь, сжимая, и осенит тебя: не

покормил пса, животное надрывно воет в
коридоре,
срочно вернуться,
и трамвай дребезжит, и по ошибке сел в чужой
номер, увезет на кудыкину гору, и мыкайся,
обреченный на ожидание,
обрученный с ветром,
обращенный в дорожную пыль,
быль и небыль здесь сестры-близнецы, и
клаксон надрывно воет, и надо идти назад, а
ты – вперед, влево, а ты – вправо, и заносит в
дебри, глухие дворики, детские
площадки, самостоятельно выпутаться не
способен и жадно шарить зрачками по
окрестностям в поисках сердобольной
бабульки, по причине весеннего
солнцестояния, ввиду обильного дождя ли
помощники попрятались и в окна
наблюдают за тобой, нужно определить
местоположение вора относительно двора, ты
расположен посередине площадки, рядом с
песочницей и ракетой, расстояние до
девятиэтажки – двадцать
метров, прыжком не получится, количество
окон зашкаливает, из каждого сурово глядит
бабулька, причем, кажется, одна и та же –
оптический обман или хитрый фокус,
основанный на отражении, -
неведомо, они синхронно хмурятся,
поднимают руки, чешут затылки, я недоволен,
сердит, нажимаю на окна и вылуциваю, как
семечки, старух; усохшие

рамы глухо лопаются, стекла льются ручьем, и последняя бабка, которую не удастся выковырять, мрачно тарашится из центра выпотрошенного здания; видел ее миллион раз, и с ходу не могу вспомнить – где, внезапно осеняет – в детстве, детство, детский, ребенок, в далекие, счастливые и блаженные годы моего босоногого и голорукого детства я проживал в пыльной, тесной, душной квартире на тринадцатом этаже аляповатого произведения советского зодчества, я рос болезненным и слабым мальчиком, поэтому в оздоровительных целях меня на все лето отправляли в деревню к бабушке, любимый зеленый хутор располагался у черта на куличках, за тридевять земель и кончалось два дня утомительной езды на поезде, прежде чем я, бледный и одурманенный непрерывной вибрацией, металлическим запахом и скудной пищей выпрастывался возле огромного пшеничного поля с налитыми колосьями, и каркало воронье, и с протяжным сигналом состав уплывал в меркнущие дали, а я еще долго сидел на скамейке, прежде чем подняться, и, с трудом двигая ноги, будто от навалившейся усталости, брести вдоль дороги; редкие автомобили обдавали меня волнами горячего воздуха, редкие грибники приветствовали, интересуюсь: не такой-то такойтовны ли я внук. Такой-то, отвечал. Или ничего не отвечал, щурил глаза на начинающее темнеть солнце и вытирал влажный лоб, и только спустя полчаса неторопливой ходьбы понимал, что со мной происходит - наваливалось блаженное, сладкое, золотое чувство, описанное в старинных книгах

нежным словом “нега”, и я, по прихоти неведомой воли обретя полную силу, во весь опор бежал и издавал радостные вопли при виде знакомых полян и полей, гнилых березок и муравейников, на дедовом поле я валился лицом в скирду сена и долго лежал, обоняя сырое, ни с чем не сравнимое... а дед уже ждал возле плетня, и легкая улыбка трогала его обычно хмуро поджатые губы.

Как я проводил дни? Как все деревенские мальчишки – купался, загорал, дрессировал лохматого пса, валялся с книгой в саду, валандался и бездельничал, и был обуреваем различными фантазиями.

Дед выстроил небольшой уютный домик, пять светлых комнат, не считая кладовых, длинный промозглый подвал, и гулкий просторный чердак: туда залетали голуби, там жили летучие мыши.

По вечерам, когда полная луна выкатывалась на слоистом, дымчатом небосклоне, по приставной лестнице я забирался наверх, брал самодельную подзорную трубу и с наслаждением вглядывался в таинственные светящиеся небесные точки. Дед учил: Венера, созвездие Гончих Псов, Млечный путь. Но захватывали меня всего сильнее не эти древние имена, захватывало сознание огромной бездны, головокружительного пространства между мной и ярчайшей звездой.

В доме обитало немало живности. Черный сытый кот Василек с лоснистыми боками, зеленоглазый, злой, любитель пошипеть и полакомиться мышатиной. Как я боялся его! Юркие мыши раньше скреблись в

углах и в стенах, шмыгали по балкам, обнаглели до такой степени, что показывались днем и могли запросто утащить со стола кусок черствого хлеба. Василек выступал несокрушимым стражем жилища, и ни один воришка не миновал его крепких когтей. Со временем грызуны поняли, что делать здесь нечего, и количество их сильно поубавилось. Во дворике, в грубо сколоченной будке жил белый кудрявый пес Аркаша. Наверно, он был даже старше самого дедушки, добрый, вялый, слишком доверчивый. Породы дворовой, лохматости умеренной. Дед брал его с собой по грибы. Пес возвращался довольный, но шатался от усталости. К нему вечно прилипали репы, особенно к куцему хвосту, и когда я выдергивал, Аркаша распахивал пасть, вываливал красный трепещущий язык и от удовольствия прикрывал черные с поволокой глаза. Он находился в дружеских отношениях с упитанным поросенком Борькой и тощей бодливой козой Зиной. У меня с ними подружиться не получалось. Коза гонялась за мной по огородам, поросенок, напротив, испуганно убегал, стоило мне приблизиться к его загородке. Не привыкли к твоему запаху, объяснял дед.

Городской запах я искоренял бесконечным купанием. Речка в деревне небольшая, чистая и теплая. Плавать в ней удивительно просто. Вода словно сама держала мое тщедушное тельце. На спор с местными я несколько раз пересекал ее поперек, нырял солдатиком и однажды достал со дна настоящую гильзу. Дед рассказал: в незапамятную эпоху здесь было кровавое побоище. Я был горд находкой, хранил в

тайнике за огородами и никому не показывал,
кроме Вовки.

Товарищей у меня появилось миллион,
но лучший друг один – Вовка. Жил по
соседству, в домике меньше и хлипче нашего.

Был ниже меня на полголовы. Отчаянный
враль и хвастун каких мало. В день нашей
первой встречи он зачем-то сказал, что ему
подарили летающий мопед, и мы вечером
промчимся с ветерком над лесами. Как я ждал
конца дня! Тускло-багровый солнечный шар
закатывался в темные прорехи, чтобы,
вырываясь на миг, как из бадьи окатить
яркими лучами деревеньку – деда у окошка,
поленницу с ящерками, жуками и слизняками,
кривой частокол, веселых девиц у колодца, - и
окончательно увязнуть за необъятной зубчатой
линией таежных лесов. И как горько я плакал!

И какой смешной эта маленькая печаль
виделась через два дня, когда дед Вовки,
коренастый, проворный старик с жилистыми,
хваткими руками взял нас на первую в моей
жизни рыбалку. Главное, предупредил он,
соблюдать спокойствие. Мы на цыпочках, с
тревогой и с восторгом вглядываясь в
безмятежную водную гладь, ходили около
берега. Вовка не выдержал в какой-то момент,
заорал: Подсекай! И дед, не шевельнув
бровью, стегнул строптивного внука крапивой
по ногам. Всю рыбу нам тогда распугать не
удалось – полведра блестящих, красновато-
сизых карасей принесли к обеду. Причем, я
смог поймать крошечную рыбку, а Вовку
удача обошла стороной.

С того дня мы не почти расставались.
Утром я забежал к нему в огород и колотил в

ставни сучковатой палкой. Приятель отворял сонный, смурной и в недоумении пялился на меня, будто я докучное продолжение его сна.

А потом, вспомнив вчерашний уговор, преобразался, и на ходу натягивая шорты, бежал в коридор, крикнуть деду: “Я скоро!”

Но мы возвращались к вечеру, мокрые, грязные и счастливые...

Особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие, доставляли мне походы с дедом по ягоды. Он, бывалый лесник, знал, пожалуй, каждую тропку в огромной тайге, помнил названия диковинных трав и цветов, умел общаться со зверями. Дикие хищники не трогали его, а пугливые травоядные подходили близко и тянулись мордами к котомке, где он хранил лакомства. Рядом с ним я не боялся ничего. Лес преображался, раскрывая свои сокровища: вот пахучий багульник, от которого болит голова, вот съедобная кислица, вот хрустит серебристый ягель, а из этой огромной черной гусеницы, усыпанной желтыми пятнами, скоро произойдет бабочка с красивым именем мнемозина.

Перелески, где росли высокие, ростом со взрослого мужчину, лопухи, я не забуду никогда. Опутанные паутиной, усеянные росой, лопухи пробуждали во мне какое-то первобытное желание, я сгибал крепкие сочные стебли, наступая на них ногами в плетеных лапоточках, как на поверженных врагов.

Еще мне нравилось прикасаться к сухому морщинистому наросту на деревьях, тогда я не знал, что это не часть ствола, а гриб

чага, полезный для хворого человека,
незаменимый компонент дедовского
фирменного кваса.

По дороге к болотцу я успевал вдоволь
наестся черники, но именно там, на топкой,
мягкой земле меня ждало самое большое
упоение, доступное мальчишке, – желтоватая
прохладная ягода морошка. Я срывал ее
горстями, похожую на застывший янтарь,
набивал щеки и карманы, а дед посмеивался:
“Будет тебе, обжора! Живот скрутит”. Но, что
удивительно, живот у меня никогда не болел в
деревне, да и другие болезни ко мне не
прицеплялись, словно самый воздух там был
целебен.

Последним летом у деда – мне
исполнилось одиннадцать, - я неожиданно
влюбился, глупо, безрассудно и бессмысленно.
Я не знал, что делать с моей любовью. Ее
звали Верка, внучка дряхлого сторожа. Она
была двумя годами старше и, конечно, не
обращала внимания на лопухого охламона, и
все мои неуклюжие попытки привлечь ее
интерес оставались напрасными. Я приносил
ей июньского жука, он мощно гудел и
топорщил крылья, и бился в стеклянной банке,
и это вызывало у девочки исключительно
страх, а не гордость за мою отвагу. Однажды я
предложил ей моего воздушного змея,
красавца с широким узорчатым голубоватым
капюшоном, и она, испытав вялое
любопытство, следила за тем, как змей
медленно расправляется и взмывает в небо, и,
взяв хрупкими смуглыми пальчиками
веревочку, тянула его пару шагов, а затем с
коротким смешком, отпустила, и, стоя
полуоборотом ко мне, пробормотала: “какая я

неловкая” и тут же с нажимом добавила: “все равно он дурацкий, дурацкий!” Часто моргая, с влажными веками, я смотрел, как мой дурацкий, мой любимый змей, подхваченный ветром, совершает кульбиты и уносится неведомо куда.

Тем же вечером я видел ее с Ваньком, сыном угрюмого хромого плотника, задиристым пятнадцатилетним пареньком, который ко мне питал лишь садистские интересы, - без всякой причины дергал за уши, бросал за шиворот шишки, - а с ней казался непривычно тихим и умиротворенным. Они прогуливались по берегу, пока я сидел за кустами и раздумывал, как отомстить Ваньку, вот сейчас брошусь, представлял я, толкну его в грудь, и он кубарем покатится по низкому склону, и жалкий, уничтоженный, окунется в речку, и мы с ней вдосталь насмеемся над ним. Из укрытия я вылез, когда стемнело. Парочка давно разошлась по избам. Я дрожал от холода, и так остро ощущал собственное бессилие, свою незначительность в загадочной игре мироздания, что даже не мог плакать, только цепенел и едва дышал, и звезды щурились из-под облачной пелены.

Утро я провел, мастера самострел, нашел смолистую ветку, обстругал ее, примерялся, куда вбить гвоздь для резинки, и тут появилась Верка. На ней было красное платье в белый горошек. Она неожиданно остановилась рядом и стала спрашивать, что я делаю, я отвечал грубо и невпопад, мне совсем не хотелось ее видеть. Девочка была назойлива, и я, не выдержав ее голоса, платья, странной близости, заворчал: “Ну что встала, вали к Ваньку”. Помолчав, она сказала: “мы

поссорились”, и после еще одной длинной паузы спросила: “Ты зачем шпионил?” От удивления, от смущения и стыда, я не глядя махнул молотком и угодил себе по ногтю.

Верка сорвала подорожник и завернула опухший палец. Полдня она провозилась со мной, охая и причитая, что это произошло из-за нее. Всю следующую неделю я – будто погрузился в беспробудный, счастливый сон – провел с нею, показывая все свои тайники, любимые места, открывая лесные секреты. На шоссе мы нашли одноглазого ежика и вернули его в лес, поближе к сородичам. Мы спуускались к ручью, заросшему осокой, и гортань ломило от ледяной воды. Мы прикормили старую белку с черными бусинками настороженных глаз. А потом Верка почему-то перестала приходить и снова появлялась в обществе непривычно серьезного Ванька, и я сделал для себя грустный вывод: я для нее в силу неведомой тайны не интересен, и никакими белками и ежиками это не исправить. Открытие мне помогло: раз я не нужен, то и она не очень-то и нужна. Переключился на другие дела, и вскоре удалось выбросить из головы нелепую, непонятную девочку.

На закате дед находил занятие своим проворным, суетливым рукам – плел из сухих трав корзины. Я учился у него этому мастерству, и был горд, когда стало получаться. Он рассказывал мне о прошлой жизни, о своих предках, о дремучей тайге, о золоте, погребенном в болоте, о том, как люди проливали кровь из-за презренного металла, и я, прильнув к его плечу, жадно слушал увлекательные истории, и чем больше он

рассказывал, тем горше делалось осознание того факта, что скоро придется уезжать. Каникулы подходили к концу. Яркие деньки сменились смурыми. Воздух холодел. Часто на несколько часов мог зарядить дождь.

Моросило тем ранним утром, когда мы с дедом понуро брели к железнодорожной станции. Из будки глухо брехал, а то пускался в тоскливый вой Аркаша, и у меня отчего-то сжималось сердце, я смотрел вокруг, не в силах насытиться простой, щемящей красотой – в молочных дымках тянулись нивы, бледные звезды уже таяли на сереющем небе, одинокая корова стояла на краю поля и задумчиво жевала траву. Мне не хотелось уезжать, а деду не хотелось расставаться, вот он и насвистывал, стараясь напускным весельем скрыть тяжесть на душе.

На платформе было безлюдно и тихо, только ветер изредка шелестел в кустах. Дед начал сбивчиво говорить – о матери, о природе, об исконных корнях, а потом махнул рукой и замолчал. Так мы и замерли друг напротив друга, и ощущение то ли разлуки, то ли неминуемой беды проникло в меня.

Поезд уже подходил, печальным звуком оглашая окрестности, из него высыпали румяные дети и нарядные дамы, и, тараторя, споря о пустяках, удалились в сторону дачного кооператива. “Посидим на дорожку”, предложил дед, “пять минут у нас еще есть”. Я кивнул, мы присели на мокрую лавку. Дед вздохнул, а потом быстро спросил: “Ты ведь вернешься еще сюда... ко мне?” “Конечно, вернусь”, с готовностью ответил я, “обещаю, что вернусь”, и суровое лицо деда подобрело.

Он кивнул и грустно улыбнулся чему-то
своему. И затем поторопил меня: “ну беги, а то
опоздаешь”,

Я

попытался рывком вскочить, и не смог
сдвинуться с места, что-то цепко держало –
заноза или гвоздь,

я осмотрелся и убедился –

ЛОКОТЬ

зацепился за гвоздь; постепенно
стальной стержень всаживался глубже, точно
снизу его тюкал невидимый молоточек; я
присмирел и уставился на бабку, которая все
еще сидела рядом, выражение

на ее лице было брезгливое и
презрительное, она подобрала поближе к себе
цветные шали, чтобы я не дай бог не утянул
хотя бы одну; а то

иной прохиндей цап – и шась; из
вагонов,

морщась от натуги, вылезли торговцы со
столами на спинах, водрузили мебель на
перроне, и стали распаковывать узелки с
утварью – тарелками,

чашками; откуда ни возьмись вырос
здоровенный детина с кастрюлей и
поварешкой и принялся наливать торговцам
дымящийся суп;

они благодарили и брались за еду,
причем жевали так смачно, что хрустело и
трещало на весь кинозал, несмотря на то, что
кино было черно-белое и немое; со страхом я
вспомнил:

не выключил конфорку, и ринулся на
улицу, не помню, сколько бежал, полчаса или
час; мой дом не появлялся, будто его
перенесли или снесли, хотя по всем подсчетам
должен был давно показаться вдали;

если ускоришься, произнесла случайная
прохожая, и побежишь так быстро, как
никогда не бегал, то, может быть, попадешь
домой; я последовал совету: ускорился,

сильно качая локтями, и тотчас заметил
впереди кусок стены моей панельки;
неопровержимое доказательство того, что я на
верном пути;

я еще увеличил скорость, но кусок
немедленно пропал, словно возникал лишь при
определенной быстроте, и сколько ни пытался
вернуть прежнее состояние – бесплодно;
подумалось,

дело не только в скорости, но и в локтях
– положении, раскачке, напряжении; заболтал
ими свободнее, резче, и дом снова замаячил
впереди;

достигнуть его проще простого, уже
материализовались знакомые скамейки,
ракета, песок;

ТЫ

проникаешь в подъезд, и кто-то из
дворовой гоп-компании, спрятавшийся за
дверями, кричит: “бу!”; ты вздрагиваешь, и
сердце усиленно бьется, а тот, охламон,
заходится в хохоте и улепетывает наверх,
почему – наверх?

мучительно думаешь, живет здесь или
через крышу надеется скрыться, перевешивает

второй вариант и, дабы подстеречь и устроить
темную, решаешь подождать возле другого
подъезда, но,

распахнув железные двери, попадаешь
не на улицу, а в собственную квартиру;
бешено визжит чайник, суп булькает и
выливается на плиту, из водопроводных
кранов хлещет вода,

несмотря на полдень горит люстра и
зажжены настольные лампы;

мне покойно, произносит персонаж и
перекидывает ногу на ногу; фигура в пышном
кресле со стороны кажется крошечной –
сухонький старичок или не годам умный
мальчик; в руках

у товарища толстая книга – поваренная,
ан нет, по философии; философия, особенно
аналитическая, незаслуженно популярна в
наши дни, если уж любомудрствовать –
начинать нужно с Декарта и заканчивать им
же, ибо тот, кто

с блеском и основательно проведет
феноменологическую редукцию, обязательно
придет к последовательным выводам, которые
с немислимой ясностью продемонстрируют
нищету

нашего разума перед таинственной
игрой высших сил; сведя реальность к
игольному ушку божества, он застрянет –
локтем ли, головой – в оном отверстии,
покорится,

и даже найдет в своем неловком
положении приятности, скажет:

мне покойно,

перекинет ногу на ногу, и уставится во двор, где водолаз и библиотекарь сойдутся в состязании “Кто кого пересвищет”, водолаз свистит отменно, заливается соловьем, выводит дивные трели, но ничего не слышно, на нем

шлем с иллюминатором: губы беззвучно кривятся, как в немом кино;

библиотекарь свистеть не умеет и восполняет этот недостаток скрипом по различным поверхностям, проводит ключом по стеклу, гвоздем по бетону, подошвой по бесхозной шине;

истошный визг тебя нервирует, нарочито включаешь телевизор, куришь на балконе, зажимаешь уши, настойчивый высокий звук как бы побуждает к чему-то, и понимаешь: снять

чайник (свисток надрывается), распахиваешь окно и шарிшь в холодной сырой пустоте, хватаешь птицу и прячешься под прилавок

от проливного дождя, столы установлены так, что образуется проход, как в детстве во время шумного застолья, ползу, разглядывая

ленивые ноги покупателей, и замечаю: между нижними конечностями существует определенная иерархия, и ноги, стоящие неподвижно, обладают

большим влиянием, нежели стремительные и маневренные, чьи беспорядочные, бестолковые движения придают застывшим

монументальность, второстепенные
иногда хаотично ускоряются, отчего главные
застывают еще величественней, цепенеют еще
невероятней, так и подмывает потрогать
подошву черных ботинок и брючную ткань, но
боязно;

хочется на миг высунуться, крикнуть,
показать язык – но боязно:

если верхних половин не будет, я с ума
сойду от страха, лепетала бледная, пробираясь
между шубами и шальями, они аляповато
свисали, по-своему формировали просветы, и
мальчишки пронзительно свистели, поджидая
в конце пути;

о неподвижные ноги возле прилавка! как
расшевелить вас, растолкать и взбаламутить,
чтобы хорошенько топнули и прогнали
гопников, и сформировали

иные просветы, где видны остальные
прилавки, по-своему заполненные небрежно
разложенной одеждой; напрямую ткнуть
гвоздем опасно и чревато, лучше

пробуравить прилавок, дабы человек
невзначай напоролся и вышел из ступора;

спроси меня какой-нибудь идиот – о чем
эта повесть, я бы не задумываясь ответил:

о том, как шуба свисает со стола,

- затем наплел с три короба всякой
ерунды, и наконец расхохотался, топнул,
свистнул, замахнулся, в замешательстве
собеседник кинулся или, скорее, ринулся,
прочь и бежал до окраины,

до темноты, до ледяного ветра и
мурашек за пазухой, закрыв глаза и зажав уши;
случайные прохожие нашептывали

по цепочке его местонахождение; куда
он мчался, однозначно неясно, известно, что в
потемках налетел на дверь сарая или
квартиры, и застыл

в неподвижности, не в силах пошевелить
и мизинцем, ибо незаметное острие вошло в
область локтя; мрачный шутник ли оставил
торчать лезвие из замочной скважины,

или

за дверью притаился злоумышленник,
дождался нужного момента – и протаранил,

а то

лютый волк вонзил клык – и застрял;
сидя под лесным кустом, оплетенным
абстрактными узорами паутины, загнанный,
смертельно испуганный

заяц прислушивался к малейшим
шорохам; охотники были вне пределов
досягаемости чувствительных сенсоров
жертвы, но гончие псы

не сдерживались от обуявшей их жажды
крови и оглашали воздух яростным лаем,
похожим на издевательский свист; косою
вприпрыжку добрался до поляны и угодил в
ловушку – тесную

яму, утыканную кольями; ему повезло:
острие зацепило лишь локоть, и я завозился,
пытаясь встать с кресла и выключить чертов
чайник, резь

в руке заставила опуститься назад, если
не сумею образовать симбиотическую связь с
болью, буду долго страдать, и так меня
корежило и гнуло, и так выкручивало, что я
понял: гвоздь вошел слишком глубоко,

хотя его никто не звал, не ангажировал
(так ошалевших гостей не зовут на следующий
праздник), он вошел без спроса, без
приглашения, не в смокинге, даже не натянув
бабочку,

вошел,

как входят в коммунальную кухню или
в знакомую наизусть квартиру бывшей
любовницы, и если сначала выдавал себя за
добряка, то со временем

злокозненные намерения выражались
все явственней, он сделался в тягость, стал
докучать, его присутствие превращалось в
пытку, а выгнать нельзя, и тогда я засвистел,
сам не понимая, почему, может быть, это
своеобразный способ симбиотического
контакта с невыносимым;

свист есть острая форма звука;

от заточенного гвоздя возникает боль;

и ты свистишь, стараясь превратить
кончики губ в гвоздильный автомат, и как бы
выдуть болезненно засевший в тебе предмет,
но проблема

усугубляется –

от свиста гвоздь сильнее заострился и
проник глубже, рассек сухожилия, нанес
непоправимый урон сосудам и
недвусмысленно

подбирается к костям – в его плоской
головке нет иных идей, кроме пенетрации, а в
моей шевелится единственная – добежать до
финиша, тренер неистово свистит, подгоняя,
ленточка

развевается впереди, заманчиво
колыхаются и дебелие груди хозяйки, она
готовит пищу, пилит, крошит и шинкует, и
нелегко тому, кто спрятался под кухонным
столом, – ножки

трясутся, ходят ходуном, скрипит
ржавый кран, хлещет вода в раковину, смывая
ошметки моркови, и поди ты разорвись,
бормочет дама, вот и чайник закипает, и
призрачной

пеленой поднялся пар, когда наш герой,
отчаянно хлопнув дверью, вылез на улицу;

был март, стал апрель;

капель докапала и обернулась банальной
ни к селу ни к городу слякотью; на нем ладно
скроенный костюм английского образца, под
мышкой –

книга с картинками, на макушке –
котелок, ботинки начищены казалось бы до
зеркального блеска и должны отразить
мостовую и торговые ряды,

ан нет, не до зеркального, мешают
пылинки и соринки, и грязные разводы косо
лепятся там и сям, разрезая надвое и натрое
чудесные

темные отражения, похожие на картины
впечатлительных импрессионистов – знаю,
каламбур дурной, но как иначе выразить то,

что распирает меня нынче без всякой
причины:

нежность к оставленному, - обломкам
кирпича, задубелым на ветру простыням, и
крошечным лункам, не сумевшим
расшириться в лужи, и бесполезным
отверстиям в столешнице, откуда глядит чей-
то черный глаз,

дружище, скажет некто неназванный,
покамест хозяйка отвернулась или отошла,
почисти ботинки, пообещает щедрую оплату и
сунет ногу под прилавок;

я бы не доверял свою обувь неизвестно
кому, ведь и лица не разобрать, сквозь
отверстия различаются отдельные части – клочок
волос, оттопыренное ухо, а целое
разваливается,

как плохой сон или скудный обед; да и с
какой стати ты решил, будто он обязан
почистить, возьмет и плюнет; ребенок там или
карлик – тоже вопрос не последней важности,
дети под прилавками не шастают (превалирует
страх наказания),

а пронырливый уродец способен
забраться и нахимичить, подготовить
подлость, соорудить гадость, и все ради
пошленького смешка, удовлетворения своих
неизменно низменных побуждений;

проникнуть,

впрочем, может и взрослый, аутист или
психически больной, взирающий на мир
сквозь призму искаженного сознания; не то –
манекен случайно завалиться, и в щели
увидишь клочок,

заметишь глаз, деваться некуда –
придется идентифицировать с живыми и
бояться, бывает и так, что в дырочки, если
злоупотреблять пристальным смотрением в
них,

а мы злоупотребляем,

видны отдаленные фрагменты
блошиного рынка – колени, локти, полы
пальто, птичьи клювы, котелки и шали, и по
отдельности они ничто,

а совокупно собираются в единое
существо, чрезвычайно мерзопакостное и
способное на дурные поступки, казалось бы –
посмеялись, ничего страшного,

но последствия шалости будем
разгребать годами, и отцы посуровеют, и отцы
отцов воскликнут: жалости! и под кривым
углом пронесется кривая птица над болотом, и
зацветет голубенький цветок, и я скажу тебе:

если страшишься

явить

миру,

то дай мне ее ощупать, конструкцию,
которую ты кропотливо строишь под
прилавком, вообрази – этот слепой, и пригласи
вниз ладонью, в интимное путешествие от
влажного

фундамента до податливой вершины, так
тщательно учитель ощупывает
старшеклассницу, заподозренную в курении,
или бабушка – внука, укушенного клещом,
так,

втемную называя приметы и предметы,
мы учимся жить, мы познаем мир, а он познает
нас; с ходу палец втыкается в мягкую форму, и
произносим:

песок и вода в основании, как было
изначально и произойдет; вдоль пирамиды,
возникнув из воды, голыми ступнями следуют
женщины – старая,

зрелая, и несколько молодых; из песка
выходят мужчины и мальчики, и движутся над
дамами по прослойке из пара, на них существо
поместило гигантский ключ, он тоже нелепо
завис

и тем удивительней, что держит на себе
покосившуюся кабину лифта, из нее
выглядывает цыганка, взирает наверх, где
застыл,

улепетывая от кого-то, санинспектор,
под мышкой – папка бумаг, над ним
вхолостую со скрипом прокручивается
водопроводный кран; на этом элементе
домашней техники

балансирует водолаз, - растопырил руки;
судя по лицу в мутном иллюминаторе,
продолжает кривить губы: свистеть; дальше
песок и песок,

обломки кирпичей, снова
санинспекторы, наваленные кое-как, наобум, и
опять краны, ржавые, потекшие, гнутые и
новенькие;

и книги, с картинками и без;

и клетки без жилищ и с канарейками;

и декарт в фартуке мясника;

три девочки, два мальчика и
пенсионерка

изюминами воткнуты в гору
злокозненного хаоса, чью цель нам предстоит
исследовать в этой монографии, дорогой
читатель,

любитель горяченького и соленького,
потерпи – закипает, и я бы, дай мне волю и
власть, поместил зайцев и туземцев-пигмеев в
сердцевину структуры, тут и сям натыкал
кораллы, с мясом

оторванные рукава, и коли появятся
лунки – ничего, пусть, его ничем не испортить;
объект небольшой – полтора метра вверх, и
чем выше – тем уже,

и чем уже, тем однородней;

состав прост, как сказала бы кухарка
кухарке: вода, то-сё, но главный ингредиент
оставлю в секрете, чтобы не сперли воры и не
побежали, сверкая пятками, от справедливого
возмездия, а впрочем

– скажу, огорошу, хотя ты уже сама
догадалась, милочка, это – гвоздик; не
относится к кулинарии, думают несведущие
люди, на самом деле, - он альфа

и омега любого изысканного или
простецкого блюда, сварив бульон – положи в
кастрюлю гвоздик, испеки торт – и гвоздик
сверху, сваргань

бутерброд и укрась гвоздиком; гвоздь
впивается, и убивается голод, и

ТЫ

скользишь на голом льду,

они

скандируют твою фамилию, и тренер свистит, и бабульки из породы торгашей сдвигают столы у линии, дабы предложить марафонцам интересные вещички, шали и бусы, ты

хватаешь бусы и – в кучу, чтобы росла и пухла, она достославная, с любовью оглядывает мать свое творение, остался последний штрих, но куда же пришпандорить

– гора достала до столешницы, прижалась вплотную, инструкции нет и схемы, пришлось в три погибели изгибаться и прикладывать силу,

и колыхалось

и осыпалось,

и сверкало,

и гвоздь пристроился на вершине, плотно притиснутой к прилавку, так плотно, что пробил дерево и вышел снаружи в тот самый момент,

когда марафонец под одобрительные клики преодолел ленточку и, не сдержав инерцию, налетел на прилавок локтем; гвоздь вошел – но можем ли мы

назвать гвоздем темечко бледной матери, подпрыгнувшей от страха в тот момент, когда внезапно засвистел тренер; пробила крышку стола,

и воткнулась в локоть головой, удар был сильным, кишки в локте разорвались, и мозги лопнули, и другие органы,

наваленные без системы, испытали
сокрушительное воздействие –
почки и печень накрылись медным
тазом,
селезенка и легкие потерпели крах,
сердце пыталось улизнуть на глубину,
мощным тараном было раздавлено, и
прекратило сокращаться;
мужчина рухнул, придавливая,
прокручивая
как ключ
и вырывая гнутую узкую дамскую
голову из щели, и все истошней свистел
чайник,
но некому было выключить,
потому что
никого не осталось.

Записи инженера

*

Нравится на новом месте. Привыкаю. Хожу. Шторку отдернув, смотрю – залив, закат. Нео-описуемая красота. А еще здесь симпатичные поварихи. И одна из них мне предложила... но полно. На что она? Дела есть иные, значительные дела.

*

Сегодня Лютославский провел меня в институт. Прелестное здание в семь этажей. Старинное. Полы воцеленные. Кактусы на окошках. Занавесочки кружевные. Заниматься будем делом важным, потрясающим, можно сказать, делом. Строительство и проектирование метро – не чушь собачья.

Богато у них, не то, что у нас. Сидят ассистенточки, ногти пилят. А на столах ватманы, циркули. И – в четыре ряда молодые умы. Корпят.

*

Затянула меня новая жизнь. Весь погружен в работу. Начинаю уставать. Но не сдаюсь. За столом огромное окно. И слышно, как бьется и шипит море. По словам Лютославского, с водоемом проблемы. И серьезные. Из больницы на Левом берегу сливают генетические отходы и просто мусор. Больница не обычная, а тюремного типа. И живут там гады, маньяки и психопаты. Спесивцева недавно привезли. Бедные рыбы! Какой гадостью вам приходится питаться. И водоросли блекнут и умирают. Нельзя думать об экологических проблемах вместо работы.

*

Сегодня с доцентом ныряли в масках и ластах. Нео-забываемое ощущение! Голубая толща сияет, лучи растекаются. Срезал красивый черный коралл. Поставлю на раб. стол, чтобы отвлекаться иногда. Причудливое создание все-таки. Не растение, не животное, и не камень. А что? И если в нем есть подобие жизни, то не мог ли генетический материал (в том числе кровь, моча, фекалии и сперма) повлиять на процессы, происходящие внутри коралла? А если, – задумываюсь в минуты скуки, - какая-нибудь клеточка какого-нибудь ублюдка из больницы попала внутрь коралла, запустила человеческий процесс, который смешался с процессами нечеловеческими, каменными, и в итоге в коралле стало что-то происходить. Не зарождение сознания. Но пред. Пред-зарождение. И я смотрю на толстую черную ветку и спрашиваю: что у тебя внутри?